

ВЛАДИМИР МАРЧЕНКО

ЛЮБОВЬ И СМЕРТЬ ИВАНА ЧАГИНА
повесть

МОСКВА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «Б П П»
2010

*Вере и Оксане –
с пожеланиями земных благ.*

*4 июля 2010 года.
Село Новогорьевское*

Рис. И.Ушакова

ЛЮБОВЬ И СМЕРТЬ ИВАНА ЧАГИНА

На Егория вешнего вечерним поездом прибыл из Самары пожилой следователь. Злодейское убийство редактора уездной газеты «Новое время» Редкина и репортёра Чагина вызвало резонанс в губчека. Начиналось расследование террористического акта со скрипом, спустя почти месяц. А до этого местные органы у нас накрыли, что называется, подпольную группу, которая планировала мятеж в уезде. Она, по слухам, держала связь с соседними уездами.

Дело сразу назвали «дохлым», так как подобных акций происходило много, редко расследования доходили до логического конца. Но были силы, которые во что бы то ни стало желали наказать убийц. Погибший от рук белобандитов коммунист Чагин, имел орден за боевые подвиги. По слухам, что у нас ходили в городе, его утвердили в должности комиссара уездного отдела народного образования.

Пожилой следователь в коротком разговоре с секретарём уездного комитета партии Гребневым пообещал разобраться в случившемся, найти вероломных убийц, если тот будет помогать, а не лезть в следствие со своими версиями и безосновательными предположениями, которые он выдвинул в письме на имя секретаря губкома партии.

Следователь собирал материалы долго. Опрашивал свидетелей дотошно, записывая каждое слово. Через две недели у Ярыжкина сложилась полная картина всех событий, связанных с Иваном Чагиным. Он был главным действующим лицом, а другие горожане и горожанки играли роли второстепенные. Следователь увидел эти события со своей, так сказать, колокольни, представлял их, выстраивал диалоги, домысливал детали и недостающие события.

1.

Широкая мрачная улица.

От тихого больного ветра жалобно постанывают ржавые, но подкрашенные вывески магазинов и лавок. Туман и дым, смешавшись, разъедают очертания серых облезлых фасадов зданий, открытые железные ставни с кованными завитушками. Кажется, что совершенно вымер уездный городок Крыпов, будто ожидает очередного нападения. Неожиданно выныривает из мягких влажных слоёв тумана высокая сутулая фигура. Прихрамывая на правую ногу, скучно бредёт молодой человек.

«Напрасно не взял палку, теперь ковыляй, как старая артиллерийская кляча. — Поругивал себя Иван Чагин, возвратившийся из Самарского госпиталя три дня назад.

Из-под длинной новой шинели с малиновыми разговорами видны чистые обмотки и блестящие носы ботинок на высоких каблуках. Застучала на булыжниках телега с пустыми бочками, красноармеец осторожно зашагнул на тротуар. Шуршала шинель, боязливо шелестели просохшие листья старых лип. «Раньше

такого не было, — невесело подумал Иван, останавливаясь. — Дворники листья свозили в плетёных коробах за город». Неторопливо сняв чёрные хромовые перчатки, которые выдают в Красной Армии лётчикам и командирам бронедивизионов, молодой человек вынул из кармана свёрнутый голубоватый клетчатый платок, приложил к белому высокому лбу, к вискам. Коснулся лермонтовских пугливых рыжеватых усиков. Словно убеждаясь, — на месте ли. Поправил мягкую суконную шапку-богатырку с большой алой звездой во лбу, скосил глаза на орден, который вчера укрепила на присборенной красной ленте, старая тётя. Лицо красноармейца выражало подневольную тоску и отрешённость. Постояв пару тягучих минут, нехотя поковылял дальше, лениво засматриваясь в скучные очертания когда-то знакомых двухэтажных зданий, ставших почему-то ниже и холоднее.

За последние два года своей молодой неровной жизни он повидал много улиц и много высоких горделивых зданий. Кажется, что совсем недавно убежал с другом Стёпой Дудкиным в город Пугачёв, бывший Николаевск. В вагоне друзья оказались среди красноармейцев, возвращавшихся в свои подразделения после ранений. Парни и пожилые бойцы с восторгом рассказывали о своём геройском командире. Быль переплеталась с небылицами. Бойцы находили придумывали несуществующие подробности. Друзья сделали выбор. Записали добровольцами в бригаду, которой командовал Чепаев. Пройдёт два месяца. 3 сентября его утвердят в должности командира дивизии Николаевских полков.

Довелось побывать Ивану в освобожденной в октябре 1918 года Самаре. До сих пор стоят в глазах

отполированные спины волжских равнодушных волн, тонкие острые шпили католического собора недалеко от штаба Восточного фронта. Потом вновь пёстрый Уральск, с убогими глинобитными мазанками, окружившими в центре города величественный и надменно-строгий храм Спасителя, возвышающийся над бледными домиками, глиняными лачугами, теснившимися по сторонам просторного кладбища. У храма стояли три одноэтажных больницы, в которых периодически лечились то белые, то красные. Умершие лежали рядом в тесных глинистых могилах.

Церквей и церквушек в городе множество, а вот трёхэтажных зданий мало. Говорили, будто бы с паперти невзрачной церковки за вокзалом выступал Емельян Пугачёв, звавший мужиков подрубать царский корень.

Друзья ходили на митинги, патрулировали тёмные улицы. Шла оборона города. Большой мастер фортификации Карбышев указывал, как укреплять окраины. Привлекла друзей высокая радиомачта, которая посылала и принимала сигналы из штаба 4-ой армии, переехавшей в город Пугачёв. Разгружали верблюжьи выюки с патронами. Железная дорога была отрезана. Грузили боеприпасы на тачанки и грузовики. Горячими были бои. Патроны и хлеб решали всё. Казалось, что не выдержат красноармейцы, и тогда казачьи дивизии ворвутся в город. Парням давали пустые поручения. Даже в разведку не пускали, хотя местным мальчикам доверяли сходить в расположение неприятеля.

Запомнился осенью парад по случаю приезда наркомвоенмора Троцкого. Шли полки, бригады, Самые лучшие, самые преданные. Чепачев командовал. Пёстрый

и шумный базар, с огромными осетрами, дынями и арбузами манил. Тогда парни узнали, что дивизию командарм Хвесин по распоряжению Троцкого разделил на две. Чепаеву достались неполные полки, по сути он командовал маломощной бригадой, которую издевательски назвал командующий 4-й армии «партизанским отрядом». Слава Чепаева не давала спокойно спать многим красным и белым командирам.

...В памяти всплыли кровавые картины. Тела красноармейцев у разгромленного двухэтажного здания штаба дивизии. Звуки боя из Лбищенска долетали до станицы Сахарной, где был штаб бригады. Посланные комбригом Кутяковым роты, казаки отбили. Тогда пришлось оголить фронт, и отступить тихо ночью, оставив у костров небольшую группу добровольцев.

Бой за Лбищенск был упорным, с большими потерями. Тела изрубленных, расстрелянных бойцов и обозников на улицах лежали кучами. Ходили слухи, что Чепаев погиб. Искали тело начдива. Не нашли. Хоронили, читая записки соратников, просивших отомстить. Казаки изрубили тяжелораненых из госпиталя. Запах жуткий и мерзкий. Лужи чёрной крови.

...Отступали. Спешили соединиться с гарнизоном в городе Уральске. Пополнить боезапас. У форпоста Янайкино остановились. Уснули. Степь. Храп. Ночь. Уснули и часовые. Лагерь дивизии окружили казаки и начали расстреливать из пулёмётов, подъехавшие броневики. Крики стоны. Где свои, где казаки. Не понять. Паника. Нашлись командиры. Артиллеристы установили орудия на прямую наводку. Подбили броневики. Кинулись в штыковую атаку.

Отступили. Лежали в мелких траншеях под холодным промозглом дождём у хутора Скворкино. Клялись, что погонят «казару» в хвост и в гриву. Лёжал Иван в мелком окопчике, под хдодным дождём, страдал от вшей и голода. Видел во сне солнечный весёлый Нил, девушек с подносами, на которых ржаные сухари, варёная конина. «Казара!» Кричали по траншеям. Просыпался. Нужно стрелять, хорошо целясь, считая патроны. Величественный Нил. Тростниковая лодка. Жрица с большими раскосыми глазами кормит его — фараона.

...Снова Уральск. Упорные бои с казаками шли до середины октября. ...Наступление на Гурьев. Мороз. Тиф.

...Чистый и ухоженный Житомир. Вспомнил Чагин, как брали Тетерев, Овруч. На улицах пахло яблоками и кровью, дымом и пороховой орудийной гарью. Погиб друг Стёпа в одной из атак под Бородянкой.

Сколько смертей увидел. Не привык. Русские убивали русских. После взятия Ковеля представили к ордену. Белые орденов будто бы не давали, а только знаки, памятные знаки. «Не та война, — говорил пленный подполковник, — за убийство братьев грех получать награды...». Может быть, он прав. Свой орден Иван надевал в определённых случаях, как сегодня.

Уездный комитет партии располагался, как объяснила тётя, в бывшем здании земской управы. Часовой, выдохнул пары самогонного перегара, взял на караул, по уставу. Возможно, думал, что перед ним высокий чин, хотя нашивки говорили, что подавший документ, командир роты — три малиновых кубика в петлицах.

— Коммунист. Это, братишка, очень хорошо. Не хватает грамотных, — выговаривал меднолицый мужчина в матросском бушлате, читая выписку из госпиталя. — Я — браток, сам тоже... Оттяпали по колено. Чонгарские укрепления брали. Где тебя? ...Написано, говоришь. Чернила слабые. Буквы закорючистые. — оправдывался секретарь укома Гребнев. Дружеская беседа фронтовиков иногда перерастала в допрос. Секретарь хитрил, переспрашивал. Оказалось, что они некоторое время воевали на одном участке Восточного фронта. Чагин нервничал. Натруженная нога ныла, а рану пекло огнём. Он крепился. Зная, что главные проверки впереди. Придётся всё повторять в особом отделе еще не раз.

— Значит, порученцем?

— В 73-й бригаде. 25-я дивизия. Начдив Василий Иванович Чепаев.

— Знаю начдива Сергея Захарова, — начал сбивать Чагина секретарь. — Я ж под Уральском на бронепоезде. Чепаев командовал бригадой в дивизии Николаевских полков. Не связывается... Всякий молодец на свой образец. Что скажешь?

— Правильно. Только Чепаев командовал с 3 до 20 сентября восемнадцатого. Потом его назначили командиром 2-й Николаевской дивизией, которая была лишь на бумаге. Послали нас на съедение казакам. Но Чепаев выкрутился. Обманул белых и красных. Вывел нас из окружения. Его хотели судить трибуналом. Комиссар подписывал депеши, в которых Чепаев крыл штабных по матушке, называл предателями, ведь вместо помощи посылали обещания. Судить хотели. Фрунзе разобрался. Отправили в Академию на учёбу. ...И назначение получил на 25-ю в апреле

девятнадцатого года. ...Рассказывали. Тогда он стал командовать 25-й. Захаров — командовал 25-й с августа по ноябрь восемнадцатого года. Его брат был военкомом некоторое время. Можете проверить. ...В Самаре в начале девятнадцатого формировалась Алтайская группа войск. Назначил нас комиссар Фурманов в агитотдел. Мы ездили с его женой по полкам, ставили спектакли. Фильмы иногда привозили из Уральска. Киномеханик Дураков учил аппаратуру настраивать.

— Театр был бригадный или дивизионный?

— Сначала была группа, а стояли в Александровом Гае. К весне сформировалась дивизия. Входили мы в 4-ю армию. Шли на Гурьев. На штаб напала казаки. Мы воевали в первой бригаде под командованием Ивана Кутякова.

— Вахтенные проспали. Казачки любят на сонных наскакивать. Гурьев когда взяли?

— В начале января двадцатого года. Я был в кавалерийской группе Вани Бубенца. Не те были казачки. Сдавали командиров...

— У них это в крови. Как припечёт, так спасают шкурку, вяжут предводителей. И Стеньку Разина отправили на казнь и Емельяна Пугача помогли Александру Васильевичу Суворову в клетку посадить. Значит, ты уже в партии был. Из театра ушёл? Как же, браток, штаб свой прочихали? Стеклянную посуду береги, как девку. Не уберегли.

— Незнаю. Предатели были. Говорили, что Чепаяев поставил в охрану инструкторскую школу той ночью. А кто-то снял её с караула... — сказал грустно Иван. — Кто-то же отдал приказ?

— Свои, знать, кингстоны открыли. Сам, как ты думаешь? — грызя волосину уса, сощурился рысьими глазами секретарь укома.

— Командиру взвода не подчинились бы. Только начальнику школы Чекову или начальнику штаба. Заместитель начальника дивизии Кутяков был впереди. Наш штаб находился в станице Сахарной. Чепаев такую команду не стал бы отдавать.

— Говорили, что обоз пришёл с патронами, снарядами, зимней одеждой, керосином для аэропланов и броневигов. Воздушная разведка не увидела, как две дивизии казаков окружают Лбищенск? Я тогда тоже крепко задумался. — Гребнев засопел, дёргая круглой головой. — Чепаева не просто было провести на мякине. Провели. Свои сдали. Лётчики глазами хромали. Хорошо приготовились. Предателей тогда было много. Их и сейчас не меньше. Ждут своего часа, что ударить ниже ватерлинии...

Иван увидел на стене знакомую картину. Обрадовался, словно близкого человека встретил. Это картина висела у них в гостиной. Даже рама не потускнела.

— В двадцатом году нашу дивизию направили строить железную дорогу. В апреле была партконференция. Я был делегатом. ...В Урбахе проходила. Дорогу не достроили, поехали на Польский фронт. ...До июля командовал Иван Кутяков. После ранения его сменил ненадолго Рязанцев. Потом был полмесяца Таль. Бахтин тоже недолго командовал. С 4 августа по 24 сентября. Дивизию влили в 12-ю армию. Тяжёлые шли бои. У них броневики, бронепоезда. Из Киева полякам постоянно шли резервы. Нас на съедение послали. Некоторое время был порученцем у Занина.

Его сменил Бубенец. Командиром роты был два месяца. Дней десять исполнял обязанности командира полка. Убыль командиров была большая. Это под Ковелем. Тогда и ранило. Представили к ордену. Оказался в госпитале. Сначала на станции Бобринской в санбате. Перевезли в Житомир. — Иван вытирал холодный пот, говорил медленно. Неохотно.

Гребнев видел состояние бледного Чагина, перестал спрашивать. Половинка высокой двери поминутно распаивалась. Входили люди. Требовали подписать, выдать. Одних просителей секретарь принимал радушно, другим махал рукой, чтобы вышли.

«Когда же кончится беседа, — думал Чагина, представляя, как придётся всё повторять в особом отделе ЧК. — Был бы он просто кочегаром или кондуктором, а то ведь в городе Чагиных не забыли, а секретарь, должно быть, навёл справки, коли прислал повестку с приказом срочно явиться. Увидели. Донесли. Иван хотел подлечиться. Потом ехать в Самару устраиваться на работу. Приглашали однопольчане в губчека, дескать, грамотный, коммунист, кровь проливал. И Гребневу, похоже, нужны надёжные и проверенные люди. Не стал бы столько времени возиться, дотошно спрашивая. Не зря этот разговор. Что-то будет...

Глядя на Чагина, слушая его ответы, думал огорчительно, что Иван чересчур спокойный, каждое слово взвешивает, словно горячий жирный борщ хлебает. Боится обжечься. Случается, что в доли секунды нужно принимать решение, а не рассусоливать. Ранен. Нужно лечиться. Требуется крепкая рука и стальной взгляд, а у этого гимназистика нет хватки. Нет

огня в глазах. И воевал-то, похоже, из любопытства, а не по убеждению.

— У нас тут орудуют банды. Каждая ночь не проходит без стрельбы. Грабежи. Поджоги. Дом ваш занят под учреждение детское. Комнату найдём. ...Живи у тётки. Хочу взять тебя помощником по делопроизводству. Бумаг — море. Честно сказать, я — малограмотный. Мог бы боцманом на «Императрице Марии» стать. Нас, крестьян, учили. Не шла мне учёба. Не мой фарватер. Лучше четыре вахты отстою. Стыдно. Учусь. У людей и шило бреет. Прежний секретарь бланки продавал на базаре. Нужен помощник честный и не болтливый. В шинельке парадной ты заметный, — секретарь задумался, потянулся к деревянной ручке. — Я наряд дам на крупу и масло, на дрова и одежду. Как раненому, паёк тебе выпишу усиленный. За орден платят нынче? — Гребнев писал долго. Перо скрипело и рвало оберточную бумагу. Он сопел и тихо матерился. — Сейчас тебя отвезёт домой дядька Влас. А утром приедет за тобой. Вот мандат. Можешь любого останавливать и приказывать везти тебя на работу.

Чагин был в дверях, когда Гребнев напомнил, что нужно в срочном порядке встать на партийный учёт. Иван понял, что интересуется его документ, о котором он спросить забыл.

2.

Тётка взмахнула красными распаренными руками, выбежав на крыльцо. Сын брата входил во двор в сопровождении белобородого мужика с мешком. Ваня морщился мучным лицом, тихо шёл, опираясь на самодельный костыль. Солнце рвало тучи своими лучами, золотило падающие листья с дуба за воротами.

— Хозяйка, — обратился мужчина в овчинном полушубке. — Дуй на Залезуху, на склад. Знаешь? Пока масло есть хорошее. Вот документ. Крупу я взял и соль. Счастливо отдыхать. — Приподняв собачий малахай, конюх зыркнул по двору пронзительными острыми монгольскими глазами и удалился.

— Что такое, Ваня? — вытирая распаренные руки о фартук, спросила пугливо и заботливо.

— На работу взяли. Не спрашивая. Мобилизовали. Паёк выдал секретарь укома. Буду его заместителем по бумажным делам. Делопроизводство. Если бы я его понимал.

— Научу. Идём, отдыхай. Масло — это хорошо. Мешок тяжёлый. Я — сама. Заживём мы с тобой, Ванечка.

Три дня Иван крахмальным киселём клеил папки, сортировал, акты, протоколы, переписку с жалобщиками на перегибы представителей советской власти. Документы были перемешаны, чтобы отыскать реестр реквизиции, приходилось перелистывать сотни справок. А на это уходило дня два, три. Бюрократия нуждалась в документах. Как и любая власть, она оставляла после себя следы. Так формировались архивы, по которым потомки будут писать диссертации. На обед Гребнев возил Чагина в столовую для совслужащих, где кормили по талонам гороховой кашей с бараниной и тыквенным компотом.

Хлюпик Чагин секретарю понравился несуетными суждениями и упорным трудом. К его удовольствию не кичился орденом. Больше не надевал ни на гимнастёрку, ни на шинель. Ходил на работу в офицерском кожухе, в солдатской папахе. Не блукал по кабинетам, заводя знакомства с молодыми парнями и

девками. Если кто входил в его комнатку с полками, опускал барьер и закрывал разложенные документы. На второй день приколотил дощечку с орнаментом и ровными буквами — «СЕКРЕТАРИАТ. выдача справок по вторникам».

— Заходи. Попьем чайку. — Пригласил Гребнев Ивана, ковыляя по коридору, перед окончанием рабочего дня. Чагин закрыл дверь на всякий замок. Похромал к бачку с водой, чтобы вымыть руки.

Кипяток принёс дежурный по звонку. Гребнев достал ржаной хлеб, кусок сала и банку с сахаром. У Ивана была своя солдатская кружка, тёткины пироги с молотой черёмухой и свёклой.

— Много ещё? — спросил секретарь, высыпая в чайник сухие листья смородины и зверобоя.

— Основа заложена. Теперь надо отфильтровать по разделам. На неделю хватит. ...Кто научил? Тётя. Она бухгалтером работала, знает делопроизводство. ...Повезло. ...Погибли родители. Мне шестнадцать лет было. Крушение.

— Оружие получил? ...Трофейное? — Повертел перед глазами тёплый пистолет. — Бельгийский браунинг. — Заметив крохотную светлую пластинку на рукоятке, принялся читать, шевеля синюшными губами:

— «Командиру взвода 73-й бр., 25 с.д. Ивану ЧАГИНУ — за храбрость и преданность делу Революции. Начдив И.С.Кутяков». В зависти нет корысти. Молодец, — спрятал улыбку в усы Гребнев. — Скорострельный. Калибр мелковат, но для ближнего боя незаменим. Это память. Береги. А для работы тебе запишу «Борхард-Люгер». Парабеллум. Девять миллиметров — калибр. Девять патронов в магазине...

Сам в карточку номер впиши. Завтра в музей пойдём мой.

— Надёжнее ревагана нет. Что наши, что немецкие.

— Немецкие наганы не попадались, а вот бельгийские, испанские, американские встречались. Наши наганы кучнее бьют. Хоть в грязь кидай, хоть в муку. Без оружия тебе нельзя. За полой держи. Ночью один не шатайся. Если остановили, если незнакомые, не представились, — стреляй из кармана. Клёши купим. Дело наживное. Не давай заходить со спины. Выздоровливай. Будешь службу нести, как все. И в облавы, и в засады. Набрали мальчишек в отряд. Занимаются с ними. Они не нюхали пороха. Вот возьми меня. Броня впереди. Чем защищён от пуль пехотинец? А ему нужно бежать навстречу смерти. Каждый шаг — последний. Пульки поют. Какая твоя? ...Подумал я о тебе неправильно сперва. Орден даром не дают. Это не подарок на крестины. Согласен. Значит, ты заслужил его. Не до барыша, была бы слава хороша. Толковый человек вырос. У нас таких нет.

Они присматривались друг к другу, а фронтовое братство их единило. Иван проникся глубоким доверием и уважением к секретарю, который воевал с его общим врагом, ел из солдатского котелка вареную конину и глушенную рыбу. Гребнев понимал мальчишку и уважал за ранения, за тяготы войны, которые преодолевал, теряя друзей в каждом бою, идя в атаку на пулемёты, отражая сабельные удары казаков. Только фронтовик поймёт фронтовика так, как никто другой, не понюхавший пороха.

Дверным звонком дрынкнул телефонный аппарат. Поморщило лицо Гребнева, как от зубной боли свело.

Неловко сгрёб короткопалой кистью трубку, долго пристраивал к волосатому уху.

— Ну. Слухаю. Опять нехватка? Три пуда этого шрихта привозил на прошлом месяце. Что из того, что латыньский. Приспособь. Там и русские буквы есть... Ягнячья мать — собака. Вы его с чаем пьёте? Приспособь. Выкручивайся. Время у нас такое. ...Грамотных мало, а умных нет. Не дави. Заканчиваю статью. Времени.... Сегодня опять банда напала на сельсовет. Обязан помогать. — Секретарь посмотрел на Чагина прищуренными плутоватыми глазами. — Товарищ, Редкин, не кипятись, как холодный самовар. Понимаю я. Всем трудно. Кто тебе обещал лёгкую работу? На водах, конечно, было легче. Мы новый мир строим. Поэтому и трудно его рожать. В муках, Редкин, всё новое рождается. Я тебе через пару недель пополнение пришлю. Через пятнадцать дней. ...Красноармеец. Командир роты. Писатель. Пьесы писал и прочее... Листовки, воззвания. Грамотный человек и отважный. ...Обыкновенные пьесы. Не Эсхил и не Софокл. А лучше и талантливее. Они ему в подмётки сандалий не годятся. От себя отрываю. От сердца. ...Малость недолеченный. Поляки попортили ему плечо и ногу. А так он весь целый, в комплекте. ...Не очень на нём катайся. Побереги. Буду заходить в гости. — Со вздохом положил трубку на рычаг и пальцем придавил, будто она сорваться может. — Прости, Ваня, отправлю-ка тебя в нашу редакцию. Организовал на свою шею. Установка такая пришла, чтобы своя газета была в каждом уезде. Там тебе будет легче. Там люди творческие. А тут рутина. Бумаги. Тётю свою пригласи. На время. Где она? Поваром в детдоме. Она в партию вступит? Ты в нашей ячейке.

Будем встречаться. Она обижена советской властью? ...Дом забрали. Библиотеку забрали. Теперь её все читают и ...курят. Глупые и слепые кутята. Как ты думаешь, чего бы она хотела из своего мещанского добра?

— Незнаю. — Невозмутимо и спокойно ответил Иван. — Спрошу.

— Позвони. Её пригласят.

Пили ароматный чай, ели пироги, жевали сало. В просторном кабинете картины местных художников Горелова и Варгатёра не особо вязались с партработой Гребнева.. Это были пейзажи с ручьями и крестьянскими хатками, пшеничными полями и лесными полянами, заполненные кипреем и ромашками. На картине Чагиных была написана старая водяная мельница. На переднем плане — лошади и телеги с мешками, а на воде пруда отражается огонёк костерка, у которого сидят дети. Иван с детства видел эту картину. Ему хотелось побывать на том берегу, посидеть с удочкой и развести костёр. Когда был маленьким, то считал, что есть такая трава, которая может сделать любого человека маленьким, и тот вполне сумеет забраться в картину. Когда подрос, то просил отца, отвезти его к этой мельнице. Отцу некогда. Обещал, что придёт время, и он повезёт его туда, поможет развести костёр и наловить рыбу на уху. Не дождался, когда у отца будет свободное время.

Чагин, лёжа под пулями, сказал себе, что если вернётся живым, то обязательно найдёт эту старую мельницу. А если у него будут дети, то бросит все свои дела и отвезёт их туда, куда им захочется — в лес ли, в степь ли. Не будет ссылаться на занятость, на отсутствие времени. Надо только дождаться, когда

заживёт рана, когда придёт весна и отправится туда, в Сорочий Борок, где ручей, где запруда, где сверкает вода, падая с мельничного колеса.

— ...Найду ей исправную швейную машину. Пусть учит девчонок шить. Обмундировки много на складе. Распорют английские френчи, пошьют платья, жакетки, пальтишки. Дети раздеты. Три машинки реквизирую. Пусть шьют, продают, меняют. — Гребнев говорил запальчиво, как мальчишка, без строгости, без начальственного взгляда. Ивану казалось, что он добрый и хороший человек, получивший эту трудную работу по переустройству маленького уездного мира. — Ваня, а как ты считаешь НЭП надолго? Это не просто. Как же так. Хозяйчики полезли из щелей. Сворачиваем с революционного пути? Ленин понимать должен, что мировая революция обязательно свершится. НЭП — это удар по трудовому народу. Его опять в батраки, в работники загоняют... Гребнев не успел договорить, как в кабинет ввинтился мужчина, взволнованно заговорил с порога:

— Наум Макарович, ты поставил бывшего эсера командовать пекарней, — почти кричал посетитель в старом пальто, в шапке довоенного образца. — Что у нас коммунистов нет?

— Кто говорит, что нет? — отставил кружку секретарь. Внимательно посмотрел на вошедшего. — Тебя ставил? Ты не соображаешь, как надо тесто заводить...

Вертлявый начал что-то рассказывать о муке и дрожжах, что эсер Костенко заставляет перебивать тесто на три раза, что он выступал в семнадцатом году против партии большевиков. Гребнев слушал его,

молча, вдруг засопел. Неожиданно стукнул по столу ладонью. Проситель замолк.

— Где ты был в семнадцатом? Я тебя спрашиваю! С какими флагами ты ходил? Не было тут никакой партии большевиков. Чего ты хочешь? Я тебя ставил пекарем второй руки. Ты воровал соль и муку. Надо было тебя расстрелять по законам военного времени. Пожалели детей. Будешь клеветать на руководителя пекарни Костенко, пиши себя в списки на биржу труда, иди к нэпману в работники. Он никогда не был эсером. Хорошо, работай. Завтра приду, разберусь. Я тебя научу хлеб выкатывать.

Когда за доносчиком закрылась дверь, Гребнев посмотрел на Ивана и беззвучно рассмеялся, склоняясь над столом.

— Вот народец. Не хочет работать. Костенко специалист. Не нравится. При пиве, при бражке много братьев. Надо наябедничать, настучать. Ягнячья мать. А сколько раз надо перебивать тесто?

— Не помню. — сказал весело Иван. — Не меньше трёх раз. Спрошу у тётки.

— Узнай. Столько всего нужно знать. А голова одна. Саботируют. Портят оборудование, опаивают рабочих лошадей, чтобы к весне не на чем было пахать. Появились в уезде ветеринары. Поздно узнал. Ездят по коммунам, что ни лучше коняга, то пишут, что болен сапом, нужно пристреливать и сжигать. У кулаков кони здоровые. ...Звонит секретарь из Липовки. Еду. Арестовываю. Документы подлинные. Кто выдавал? Звоню в Самару. Никто их не знает. В партии на учёте не стоят. В пяти уездах половину жеребцов уничтожили. Понял, Ваня? На фронте враг был один. А нынче, как крыс на корабле. Рядятся в разные одёжки.

Не разобрать. А разбирать надо, на чистую воду выводить врагов. С этим НЭПом голова кружится, как у ринитной овечки. Мандат тебе дам. Подозрительных арестовывай. Разберёмся. Извинимся и отпустим, если не виноват.

— Как это?

— Уничтожают технику, жгут семена. Лучше арестовать одного невинного, чем упускать врага. Сигналы поступают. Что-то контра копит, готовит нам беду. Будем вместе ездить по деревням, возить газету. Будешь данные собирать, присматриваться к людям. Руковожу газетой, а партийцев в редакции — никого. Подними дисциплину. Народ разный собрался. Присмотрись. Будешь моя политическая опора.

— Уехать хотел. Друзья в госпиталь приходили. Приглашали в губчека.

— Понимаю, что глухой угол. Кому-то надо и тут работать с массами — истинный курс держать. Думаешь, я хочу заниматься портянками, крупой и саботажем? Не моё это. Не моё. А куда деваться? Мы — коммунисты. Фронт наш не дадим прорвать. ...Ты думал, что война здесь кончилась? Ещё долго будем воевать со скрытым врагом. Контра она и в Африке контра. Буры за свободу всё ещё воюют? Ничего не пишут в газетах. У них тоже революция, а кто помогает?

3.

Пробежали куцые деньки-денёчки. Гребнев бушевал. Вскрылись тёмные дела на станции. Грузы из Самары по дороге исчезли. А в документах значилось, что прибыли. Растворилась мука и масло. Пять вагонов. Арестовывали, допрашивали. Каждый день — крик, шум, беготня. Нашли убитым стрелочника. В приёмной,

в коридоре толпится народ. Пахнет махоркой, кислой овчиной и страхом.

Иван закончил работу. Гребнев поставил его писать протоколы, перепечатывать на машинке. Несколько раз ходил по базару, надеясь найти у спекулянтов масло. Спрятали. Новое поручение. У них в театре была почти новая печатная машинка системы «Ремингтон», захваченная Кутяковым и его ребятами в учреждении Бузулука. Чагин освоил механизм. Перепечатывал сводки, воззвания.

Лишь через восемь дней выпутался Чагин из Гребневских проблем. Написал на себя приказ. Получил от секретаря бутылку чернил. Поспешил с некоторым волнением в редакцию газеты «Новое время». Редактор быстро достал из высокого книжного шкафа бокал голубоватого стекла, налил кипятку, пожал с наигранной радостью руку, артистичным жестом указал на кресло грязно-жёлтого плюша.

От прежнего старого режима остались даже таблички на высоких дверях, столы и створчатые шкафы с учебниками и словарями. Выпускалась газета с рекламой о цирке, о световом театре «Кинема». Он помнит то время... «Чехлы можно было постирать, — почему-то подумал Чагин, слушая мягкую речь Редкина. — Запах гнили и махорки. Надо проветрить».

— Бумаги нет хорошей. Машина на ладан дышит, — редактор правил полосу, курил большую самокрутку, изредка прикладываясь к стакану с морковным чаем. Широкий резной стол с двумя тумбами завален клочками бумаги с неровными буквами, оттисками заметок и стопками старых газет. На окнах коричневые пыльные шторы, на кожаном диване с полочками и зеркалом, подушка и свернутое ватное засаленное

одеяло. У противоположной стены — длинный стол, заваленный стопками газет, нарезанной серой бумаги. Обои выцвели, оборваны. «Тут надо всё выскрести, убрать лишнюю мебель, постирать шторы. Конюшня, а не кабинет редактора. Выдраны печные изразцы. Печь не белена сто лет. Замазать трещину некому. Будто не собираются зимовать, — подумал Чагин, глядя на висющую лампу с треснутым стеклом.

— Николай Абрамович, — вбежал в кабинет встрёпанный мужичок в кургузой шинели, в бараньей шапке. Хитроватые глазки прятались в глубоких глазницах большого черепа. — Недохватка строк. А Катька ушла за керосином. Гас кончился.

— Искурили? — с издёвкой спросил редактор, подняв руку с карандашом. Клин пегой клокастой бородки начал мелко подрагивать. — Всё пронумеровано.

— Може, за конторку завалился. Или за кассу. Побегу шукать. — мужчина вытер каплю под носом и выкатился в приёмную комнату.

— Найдётся лист. Уверяю, Иван. Не волнуйтесь. Не боги горшки обливают, а мастера. Чтобы стать мастером, нужно захотеть. Образование у вас есть. Жизненный опыт имеется. Осталось — сильно захотеть. Закреплю я вас за Екатериной Дмитриевной. Она выпускающий редактор. У неё дар, а я — вымучиваю, высиживаю, как курица. Не даётся мне новая терминология. Когда-то получалось. В «Губернском вестнике» печатался. Фельетоны писал под псевдонимом — «Фома Медынский-средний». Не помните? Стихов не пишете?

— Нет, не пишу. — Тихо сказал Чагин, словно стесняясь чего-то, будто обманывает редактора.

— Стихи душу очищают.

— Лучше Пушкина не написать.

— Это вопрос риторический. Пушкину — Пушкино, а вам — Чагино. Фамилия известная. Директор реального училища случайно... — Редкин оглянулся на дверь.

— Не скрываю, — брат отца. Папа был начальником железнодорожного узла. Инженер. Старший дядя в суде работал...

— Пуганая ворона, куста боится. Выбирайте кабинет. Комнат много пустых, да беда: дров нет отапливать всё здание. К зиме в одну — собьёмся. Беда с дровами. Не запасли комиссары дровишек. Вы тоже комиссар? ...Мне всё едино. Хорошо, что воевали. Это по нынешним временам — уважение и почёт. У меня плоскостопие. Не проходил службы. Декабристы были против бедности, а революционеры — против богатства, но за бедность. Бедность — не порок, но что-то есть в этом унизительное. Беден, значит, глуп или ленив. Согласитесь?

— Бедность, не болезнь, — сказал Чагин.

— Верно. Пойду к Гребневу. Поблагодарю за помощь. Статью обещал написать второй месяц. А вы для начала перепишите заметку из старой газеты. Препарируйте. Присмотритесь, как писали. Подражать на первых порах придётся, а потом у вас свой голос прорежется. Самая лучшая учёба — это работа. Будете совершать ошибки, будете их исправлять, но делать другие. Так и возникнет собственный опыт. Если ничего не делать, ничего и не получится. Исправлять нечего будет, — рассмеялся Редкин, стряхивая пепел с оттиска. Уже в дверях, запахивая полушубок, говорил:

— Изобретать спички не надо, коль их уже изобрели. Нужно пользоваться готовыми вещами, а не добывать огонь трением, что мы начали делать. Мы — творческие люди — стоим на плечах греческих поэтов и писателей. Все сюжеты ими придуманы. Возьми художника. У него ученик. Годами краски трёт, а лишь потом позволит ему травку на картине мастера прописать. Зачем? Чтобы руку набивал. А свой стиль всегда пробыётся, как бы ни подражал своему мастеру. Душа — мера. Ангелы твоими руками будут водить кисть. Перепиши статейку, почувствуй — с чего начиналась, чем окончилась, как проблема ставится...

Иван переписывал большую статью о ремонте железной дороги, заняв один из трёх столов. В приёмную стремительно вошла молодая смуглолицая женщина в клетчатом пыльнике. Кинула руки на печной обогреватель. Он решил, что посетительница. По тому, как раздевалась, поправляла короткую причёску, понял — «Катка, ушедшая за керосином», Екатерина Дмитриевна, за которой его закрепил редактор. Женщина не замечала постороннего, приводила себя в порядок, что-то мурлыкая себе под тонкий прямой носик. Вынесла из кабинета редактора стопку бумаги, принялась перебирать, поднося каждый лист к лицу. Длинная выгоревшая гимнастёрка, затянутая дамским поясом, могла быть платьем, подчёркивала тонкую талию и высокие бёдра, но узкая длинная синяя юбка дополняла ансамбль вошедшей. Так одевались многие. Ничего в этом не было ни вызывающего, ни экстравагантного. Иван всматривался в лицо женщины, стараясь вспомнить, где и когда он видел её. Ведь видел, но где? «Как её жизнь заморозила, — думал Чагин. Он был в коротком пальто, какие ещё недавно

носили чиновники высокого ранга, в кавалерийских галифе, в американских, ботинках со шнурами. После контузии память стала иногда подводить. Он пугался, напрягал её, терзал, как мочалку. Иногда удавалось вспомнить забытое. А чаще — нет. Этот высокий гладкий лоб, чёрные полукружья бровей над открытыми иконообразными блестящими глазами странной формы и разреза видел в той другой жизни. Сочные губы плавны своим усталым изгибом и выпуклостью, но привлекают скрытой лаской и беззащитной нежностью. «Где я видел это лицо? Гречанка или цыганка? Носик прямой, аккуратный. Видел же. Грузинка или татарка? Болгарка или еврейка? Мы были знакомы. Проклятая контузия! Ей лет двадцать пять или больше? Какая разница?» Чагин шевельнулся и стул скрипнул. Женщина вздрогнула, что-то пробормотала...

— Я — Чагин, — машинально встал Иван, глядя на свои пальцы в чернилах. — Направлен к вам работать. А писать заметки не умею. Редактор закрепил меня за Екатериной Дмитриевной...

— Это я. Извините, далеко не вижу. Очки мои опять разбились. Мой мир ограничился, сузился, — Она подошла, протянула энергичную горячую руку. Иван поклонился. Тотчас отпустил детские пальчики с розовыми крохотными ноготками. Несмотря на миниатюрность и угловатость, спрятанную под гимнастёрку, выглядела незнакомка привлекательно и довольно пропорционально. — Пожарская, — проговорила женщина, пытаясь рассмотреть его лицо. Её темно-зеленые глаза щурились, ресницы трепетали, как крылья мотыльков. Она запрокинула очаровательную головку, тонкая худая шея с тремя крохотными родинками ниже правого уха вызвали у

Чагина неожиданное чувство нежности. Ему вдруг захотелось погладить по голове этого большого ребёнка, прижать к себе так крепко, чтоб втиснуть в себя беззащитное тельце, чтобы не плавала в неземных глазах густая печаль, а губы раздвинула беспечальная улыбка.

Как в тумане, она видела его тонкие приятные черты лица, пушистые мальчишеские усики. Ей тоже захотелось растопить скопившуюся льдистую горечь в серых глазах. Она помнила, как он убежал на фронт, и горевала, когда родители попали в аварию, а старшая сестра — её подруга Лиза — уехала с мужем во Францию. Красным вихрем разметала его родню, лишь тётя — отцова сестра — встретила племянника. Работала в детском приюте и ходила с начальницей по дворам, выпрашивая капусту и морковь, картофель и пшено, чтобы сварить суп детям. Он не узнавал её. Но постепенно привыкал. С приездом Гребнева положение в уезде стало выправляться.

— Что же мы стоим, — встрепелась женщина. — Сядьте. Это дворянские замашки. Так не принято, — лукаво прищурилась Пожарская.

— Я — переписываю статью...

— Это метода Редкина. Несколько человек пробовали у нас остаться. Уходили. Говорили некоторые, что лучше канавы копать. Я расскажу, как пишется заметка. Долго мы вас ждали...

Иван слушал мягкий голосок, рассматривал тонкие пальцы, и ничего не понимал из сказанного. Она пришла из той жизни, когда в доме подавали на масленицу блины с сёмужьей икрой, когда с сестрой ездили в гимназию в собственной коляске.

В Уральске сказала цыганка, что живёт он вторую жизнь. У него было много рабов и рабынь. Он знатен и силён. В той жизни был египетским фараоном, носил на бороде косичку, а тело его лежит в большой пирамиде вместе с самой любимой женой. Цыганка говорила очень строго и серьёзно; вздыхала, рассказывая о прошлой и будущей жизни. Он не верил в загробную жизнь-бытьё, так как смерть ежеминутно кого-то уносила на своей костлявой спине во время наступлений.

Представлял свой Нил, пики пирамид, девушек-служанок. После разгрома штаба дивизии, отступили под самый Уральск. Моросливый дождь. Величественный сияющий Нил, тростниковые лодки. Жрица с большими ореховыми глазами кормит его, юного фараона жареной рыбой. Вот на кого походит Пожарская. На ту, которая приходила в снах. Может быть, это были не сны. Он возвращался в свою вторую жизнь. И он помнил нестерпимо-сладостные сны. Она бесстыдно обнимала его, целовала нежно и мягко, прижимаясь своим ловким телом. Он не мог противиться этим снам-видениям, не хотел выплывать из них.

Иван готовился поступать в университет. Революция приблизилась к Самаре. Началась война. Понесла его, и сверстников, как щепки несёт полая вода, крутя в водоворотах. Он бы мог оказаться в стане белых и также воевать за правое дело, но пошёл за новым, веря в его силу и справедливость. В Пугачёве формировались краснознаменные полки. Шли полураздетые неграмотные батраки умирать за новый мир, за новое государство. Бесстрашный и рассудительный молдаванин Фрунзе, выступая на

митингах, звал защитить молодую республику. Отчаянной храбрости Чепаев, бросивший учёбу в Академии Генерального штаба, приглашал соратников на бой. Слышали со Стёпой короткую речь Чепаева и утвердились в правильности выбора.

А Чепаев говорил нескладно. Постоянно обращался к собравшимся.

— Не все из нас увидят завтра. Но наши дети будут жить лучше, чем мы. Их не станут менять на собак. Так я говорю? Товарищи? — одобрительно гудели стоящие парни и мужики. — Лыко со спин не будут драть господу. Это ничего, что мы с вами читаем по складам. Научимся. У них своя правда, а у нас своя. Вот и посмотрим, чья крепче, чья кровь красней. Не позволим господам пускать на земле свой корень. Дети наши станут докторами. Вот почему я из Академии ушёл. Что там говорили старички, это мы в прошлом году прошли. Разобьём казару, в Сибирь пойдём. Колчака погоним. Тогда и учиться будем. Так я говорю, товарищи?

Собравшись уходить с высокого крыльца, Чепаев надевал папаху. Красноармейцы просили рассказать, какая будет жизнь в будущем. Мужчина терялся, но его просили. Он сдавался.

— Я эту жизнь тоже не видел. Батрачил с топором. В окопах кормил вшей. В новой жизни у ваших детей будет всё, что пожелают, только работай. У буржуя сто коров и двести жеребцов. Так не должно быть. ...И земля будет у каждого, по едокам нарезана.

Слушал Иван наивного оратора, видел горящие глаза мужиков и начинал утверждаться в том, что нельзя жить по-старому. Вечером в театре попросили Чепаева бойцы сплясать. Он по-детски смущался, как и тогда, в конце митинга. Но вышел на круг. А плясал

здорово. Горячими глазами следили за его ногами и руками бойцы. Влезали на сцену, чтобы показать свои колени, чтобы их тоже запомнили, чтобы они остались в памяти. Впереди бои, впереди смерть и кровь. Они презирали смерть. Презирали молча. А Иван боялся, что его страх могут увидеть и тогда поймут, что он идёт воевать не за себя, а просто — за то, что так нельзя дальше жить. Чагины не голодали, было что надеть, чем гостей принять. Многие мастеровые жили хорошо в своих домиках, держали хозяйства. Но не у всех были гуси и утки, садики и луковые грядки. Иногда стыдился своего достатка, видя, как одет его друг, что ест его семья по праздникам. Понимал, что глубокая трещина неравенства делит общество на два непримиримых лагеря. Иначе решили жить люди. Начали строить новый мир. В опасности молодая республика, со всех сторон её обложили, вот-вот порвутся фронты. Нельзя стоять в стороне, выжидая, выкраивая, где лучше и слаще. Нужно становиться в строй, нужно учиться метко стрелять, далеко бросать бомбы. Об этом говорил его лучший друг Степан Дудкин, показывая, как обращаться с винтовкой, как устанавливать прицельную рамку.

Екатерина Дмитриевна смотрела на Чагина своими козыми глазами и чувствовала, что нет его рядом, витает он в глубинах своей памяти, ворошит её, словно золу в потухшем костре, который продолжал его греть.

Походит Пожарская на ту, которая приходила в снах. Помнил, как бесстыдно обнимала его. Иван не хотел просыпаться. Не хотел покидать свою египтянку.

4.

Осень кончилась, а зима где-то запозднилась. Это было не бабье лето, но в голубом бездонном выцветшем

небе гуляли гусиные клинья, а шёлковые нити паутин по утрам украшали мелкие шарики серебряных бусин. Каждое утро спешит Иван на свою новую работу, как на праздник. Учится ремеслу журналиста, переписывает старые заметки, очерки. И, кажется, что завтра напишет вот так — хлёстко и звонко. Екатерина Дмитриевна будет сражена его умением. Он показывает ей материал, который писал дома под чакание ходиков и мурлыканье котика, забравшегося к нему на колени. «Он лечит тебя, — говорит тётя. — Они очень умные. В Древнем Египте кошек очень почитали, считая за верховное божество...»

— Сухо и протокольно, — мягко проговорила Пожарская, глядя ему в глаза. — Вы пишете о живом человеке. Не говорите, что он красив, а покажите мне его красоту. Покажите его поступки, опишите его дела. Как он говорит. У каждого человека свой словарный запас. По одному слову можно понять, кто перед вами — столяр или плотник, кузнец или секретарь думы. Покажите, как он общается с товарищами, каким становится лицо при виде злостных врагов...

— Я переделаю. — Смущённо говорит Иван, слушая экспрессивные замечание наставницы. Ему стыдно и горько. Ждал, что на этот раз у него всё будет хорошо. Он перечитывает корявые фразы. Они витиеваты, с жеманством.

— Вы наблюдательны. А пишете громоздко, как комоды составляете один на другой... Пишите просто. Сегодня лучше. Пишите без оглядки на меня, на Редкина. Пишите так, как вы бы писали письмо самому лучшему другу. Дарю вам этот старинный карандаш. Мне когда-то давно среди разных милых вещей подарила одна девица. Вы её должны знать и помнить.

Она говорила, что карандаш этот волшебный. Она не обманула меня. Им я написала самые лучшие свои стихотворения. Он терялся, но я находила его. Вам он тоже должен служить верой и правдой. Он не терпит фальши. Он ломается и его жизнь сокращается, если будете часто лгать. Уменьшается и его волшебная сила. Меньше фальши, больше жизни. Тогда его не придётся часто затачивать. — Екатерина Дмитриевна говорила тихо, покачивала головкой, при этом её миндалевидные глаза за стёклами очков излучали ласковое тепло и заботу.

— Благодарю вас, — проговорил Чагин, не скрывая радости. — Я буду писать его сердцем только хорошие материалы. Только гениальные творения мы напишем вместе с ним.

— Талант в вас спит. Его нужно пробудить. Тогда вы поймёте, какой вы удивительный мастер. Вы — мешок с золотыми монетами. Как только сможете развязать хитрый узел или проделать дырочку, струйка золота потечёт на бумагу. Вы ещё не знаете, кто вы на самом деле. Вы не знаете своих способностей и возможностей. И не можете пока их использовать. Многие люди этого не знают. Никогда не откроют в себе, в глубинах души очарование творчества.

Чагин сел за стол, с которого содрали зелёное сукно, остатки которого можно было видеть в щелях, задумался, наклонившись над очерком. Он думал, как это здорово жить и сидеть рядом с такой удивительной женщиной. Сколько ребят могли бы вот так постигать азы какого-нибудь ремесла, но их нет под этим солнцем. Они никогда не постареют, не придут домой. Ему повезло. Кто-то там, на небесах устроил так, чтобы он уцелел...

— Екатерина Дмитриевна, покажите свою книгу.
— умоляюще произнёс Иван, глядя на Пожарскую тёплыми и нежными глазами.

— Какая книга. Бог с вами. Это Редкин наболтал? Возносит меня, как богиню.

— Вы и так богиня, прошептал Иван.

— ...Мало ли что вы прочитали в старой подшивке. Не встречалась я с Буниным. ...Подождите, настырный юноша. Допустим, он читал мои нескладные вирши, когда я была ребёнком. Что из этого? Ровным счётом — ничего.

— Она существует? Вы стыдитесь своего труда, потому что теперь повзрослели и думаете иначе? ...Я бы очень хотел взглянуть хоть на пару строк. Для меня это было бы настоящим откровением и даже счастьем.

Полчаса они работали. Входили наборщики, печатники. Им что-то требовалось от Пожарской. Иван не вникал о чём они говорили. Не понимал, что нужно «затыкать» какую-то образовавшуюся «дырочку».

Прошло несколько дней. Он не усвоил терминологию типографии. Не понимал, но догадывался, что полоса — газетная страница, а разворот — это две полосы. Правка — исправление ошибок после набора текстов. Чагин открывал для себя иную жизнь, которая его притягивала магнитом, но пока чувствовал себя в ней лишним. Вклад в общее дело был крохотным. Газета выходила без его материалов, без его участия. Это огорчало и нервировало. Ученичество затягивалось на неопределённый срок. Получалось, как бы все пошли в атаку, а он остался в траншее, запутавшись в обмотках.

Иван задержался в кабинете Екатерины. Перечитывал свой материал. Пытался вычёркивать

описательные абзацы, хотел добиться точности и простоты. Он увидел свои просчёты. Он проковыривал дырочку в том мешке, о котором сегодня говорила его добрая учительница. Вот только Редкин их не замечал. Не ставил в план его материалы.

Сам писал жутко. В полуприкрытую дверь Иван видел, как рвал бумагу, как потом собирал клочки. Переписывал, клеивал, выстригал абзацы. Ивану казалось, что редактор борется с кем-то, не жалея сил и времени. Иногда видел, как лысина покрывается малиновыми пятнами от напряжения, тогда губы стягивались в нитку, а бородёнка топорщилась, словно развязавшийся голик. И везде на столе пепел, заплёванные самокрутки, рассыпанная махорка. Редактор вдруг вскакивал, ронял оттиски, рукописи, выбегал в приёмную, где они сидели, хватал со стола какой-нибудь словарный том, извинялся, убежал к себе. Чагин пытался написать короткие воспоминания о тех людях, с которыми встречался. Редкин их браковал, говоря, что газете не нужны мемуары. Пожарская пришла из наборного цеха, и вдруг сказала будто бы продолжая разговор:

— У вас ещё не было в жизни таких дел и поступков, за которые приходится краснеть? Постоянно краснеть? Вы — непосредственный, благородный, хотя и связаны с грубыми и наглыми людьми, которые, как вы знаете, незаконно узурпировали власть. — Пожарская понизила голос и сурово поджала губы.

Чагин растерялся. Ему показалось, что Екатерина Дмитриевна его испытывает, но в её словах, в интонации, с которой их произнесла, была полынная горечь. Он удивился, полагая, что работник редакции не должен так думать, а тем более, — говорить.

— Романов-то отрёкся. Он бросил Россию.

— Он уступил коварной силе, не желая кровопролития. Он мог бы сто раз увезти свою семью. Но не сбежал. Он не хотел братоубийственной войны, поэтому и отрёкся, отошёл в сторону. И всё же его убили. Убили и малолетних детей, которые не могли стать помехой. Это дикий произвол. А вы говорите о справедливости, о ...

— Это была война...

— Всё, всё. Я — понимаю. Я — пошутила, проверяя вас. Помогите перенести машинку. Не могу сидеть к двери спиной. Диспут окончен, милый Иван Филиппович. Вы не обижайтесь на меня. Это просто шутка. Во время военных действий страдают не только солдаты, но и мирное население. Так было и будет.

Чагин потерянно смотрел на вошедшего печатника в собачьем малахае, думал, что не всё так просто в голове его учительницы. Она не доверяет новому правительству, критично настроена на сложившееся положение, но вынуждена с ним мириться, так как иначе не может жить, но работает на ненавистную ей власть. Он её понимал, надеялся, что пройдёт время и эта милая женщина поймёт, что была не права.

5.

С началом первых заморозков Чагин и Пожарская перетаскились из своих кабинетов в большую приёмную, в которой две печи. Третий сотрудник редакции — пожилой дядя с большими запорожскими усами, в расстегнутой рубашке — исчез. Он и раньше исчезал, но возвращался — угрюмый и виноватый. Писал и фотографировал. Под столом у него стояла бутылка с квасом. А в фотолаборатории пахло брагой и дрожжами. Иван догадывался, что Поплавский страдает

запойми. Редкин его держит за исключительную работоспособность и умение делать фотоснимки. А тут техничка-курьер сообщила, что журналиста обнаружили в Самаре. Будто он купил на базаре будку, где делает фотокарточки, пишет заявления малограмотным крестьянам.

Николай Абрамович зазвал к себе Ивана после обеда. Женщины заклеивали окна лентами из газетных полос. Штор — пыльных и выгоревших, не стало. Шторами редактор премировал всех сотрудников к Октябрьской годовщине. Инициатива вышла от Гребнева.

Тонкий бархат обрадовал Евлалию Игоревну Ситникову. Тётя выкрасила портьерину в чёрный цвет и за три ночи, как Василиса Премудрая, скроила и сшила племяннику куртку-пиджак с карманами на молниях, брюки флотского покроя. Обрезки пошли на элегантные перчатки, нарукавники и даже буржуйский галстук соорудила талантливая мастерица.

Кабинет редактора всё ещё походил на склад, но с дивана исчезли подушка и тощий матрасик. Шкафы перенесли в кабинет Пожарской. Длинный стол занимали подшивки, как и прежде. Редактор раскурил козью ножку, но отчаянно принялся её тушить в большой хрустальной пепельнице, которую обнаружили за шкафом.

— Написал информацию. Хотел поправить. А вместо этого начал её курить, — виновато говорил Редкин, качая головой. — Старею на собственных глазах. Газетная суета последнюю извилину выпрямляет. Для молодого — это ничего, а мне за сорок. Больше пяти лет нельзя заниматься газетным промыслом. Что я вызвал? Вот фотокамера.

Английская. Разберитесь. Вот самоучитель по светографии. Пойдём в лабораторию. Перепишите, что есть, что надо. Объявления давали. Никто не пришёл. Вы — человек военный. С пулемётами обращались. Пистолеты, куда сложнее, чем фотокамера, а ведь у тебя их два. Техника. Вам и карты в руки. Изучайте. Похлопочу, чтобы за вредность паёк добавили.

— Пулемёт — это техника. Фотография — химия, физика. Не смогу...

— Беспартийная Пожарская может? А коммунист не может? Она раньше всех нас приходит на работу. Помогает топить печи, заправляет и чистит лампы. Печатает на машинке, пишет, макетирует газету, вычитывает оттиски, правит письма трудящихся. Она тянет всю редакцию. Я, как простой завхоз, режу бумагу, бегаю в поисках дров, хожу на совещания разные, принимаю ходоков из деревень. Кого мне поставить? Без иллюстраций нельзя. Это будет не газета. Раз в месяц съездишь в Самару, привезёшь клише...

— Зачем ездить? Можно отправлять фотокарточки с почтой или со спецсвязью, — сказал раздражённо Чагин.

— Я — не додумался. Ты сразу решил эту проблему. Можно и фотоматериалы так заказывать. Вот, что значит молодость. Пошли фотолабораторию открывать. Ключ потеряли технички.

— Когда бы мы потеряли? — возразила пожилая женщина в чёрном платке. — Он ведь не давал нам убирать. Ключи прятал с собой.

— Позовите Волокрутова с ломиком, — приказал Редкин, вставая из-за стола. Иван понимал, что обязанности фоторепортёра придётся выполнять ему.

Не научившись толком писать, нужно изучать фотодело. Был бы, кто опытный рядом, мог подсказать, научить, а то ведь старенькая книжка — самоучитель, чем поможет? Нужно идти к старику—фотографу, проситься в подмастерье. Не должен отказать. Жив ли?

Чагин и редактор вышли в приёмную. Вокруг стола Пожарской стояли и сидели сердитые женщины. По запаху, по одежде можно было понять, что работницы из овчинно — шубной мастерской, которую почему-то называли заводом. Пришли жаловаться на горькую долю. Они верили, что им помогут, что-то изменится... Газета имела авторитет.

—...Сыро и сквозняки, — громко говорила высокая молодая женщина, теребя концы платка красными, будто обваренными в кипятке, руками. Её нестройно поддерживали другие. Донёся возглас:

— Обещали детей устроить. Обещали столовую. Себе сделали, а нам...

Пожарская подняла голову от бумаги, на которой записывала просьбы работниц, увидев Редкина и Чагина, недовольно нахмурилась, отчего её лицо вдруг стало торжествующе злым и даже надменным. А может быть, это Ивану показалось. Екатерина Дмитриевна попросила говорить по-очереди. Иван ещё не видел, чтобы Пожарская на кого-то сердилась. Не слышал он и её смеха. Заметки писала быстро, почти что на ходу. А если не хватало строк, то присаживалась где-нибудь на минутку, другую, проводила пальчиком по лбу, словно хотела извлечь из головы необходимое, и вот кончик карандаша скользит по грубой бумаге, и вот бегут ровные округлые буквы, сцепляясь в слова, укладываясь в предложения. Иван в такие минуты был отчего-то счастлив. Если замечала его взгляд, тонко улыбалась,

грозила пальчиком с шутливой гримаской на лице и уходила царственной походкой. Это походка его дразнила, вызывала бурю странных мыслей, заставляла волноваться.

Призывно и настойчиво затренькал телефонный звонок в кабинете, Редкин вернулся. Его звали женщины, оклеивающие окна, словно он должен сделать очень важное дело, а сами не брали трубку, считая, что от разговоров по аппарату обязательно заболит голова и в ушах заведутся уховёртки. Об этом ему рассказала как-то пожилая статная женщина, приносившая почту. Иван попробовал её разубедить, но она только снисходительно улыбалась, говоря, что о здоровье молодёжь не думает, часто звонит, хотя можно и нужно больше ходить.

— Ломайте дверь. Я — приду. — Сказал Редкин, коршуном устремляясь на звонок. Волокрутов — тщедушный печатник с большой головой и крохотными глазками, утонувшими в голом черепе — осмотрел висячий амбарный замок, посопел, вогнав в его ржавое нутро тонкий подковный гвоздь — ухналь, принялся потихоньку поворачивать, прислушиваясь.

— Керосину бы капельку,— неожиданно хрипло и шершаво сказал он, облизывая мокрые губы. Иван посмотрел на широкий утиный нос, на рябое лицо. Ему показалось, что где-то он видел этого вертлявого человека, помнил его манеру, подворачивать голенища хромовых сапог. Даже походку вспомнил. Тогда он был не Волокрутовым. ...Постоянно прижимал локти к бокам, выставив вперёд кулаки. При каждом шаге его заносило из сторону в сторону. Издали казалось, что он намеревается плясать, но что-то выжидает, примеривается, приплюснутым

носом. Где-то они встречались? Потаённая неприязнь к этому незнакомому знакомцу окутала Чагина. Память не хотела, чтобы он вспомнил те события, с которыми связывались его встречи. Подрагивают широкие ноздри, как у дикого кабана, а тщедушное тело играет от усилий. Сапоги переступают в нетерпении, а голова в подёргается в напряжении.

Не прошло и минуты, как огромный замок сдался тонким пальцам, измаранным в чёрной краске. Волокрутов прищурил глаз, как-то весело и ласково шлёпнул по двери ладошкой, приглашая Чагина входить в фотолабораторию.

— Фомкой проще, а потом чем делать ремонт, так Иван? — и ушёл, раскачиваясь, мотая в руке короткий лом-гвоздодёр. Чагин не успел поблагодарить печатника за труд, как подошёл Редкин. Озабоченно, вытирая платком ладони, сказал:

— Завтра в шесть Гребнев приглашает в деревню. Взять тебе нечего. Бумаги нет. Тираж упал. Возьми хоть старые номера из резерва. ...Какая разница им там из чего сигарки слюнявить? За ночь не успеем. Опять полосу рассыпали. Не заключили, и машину крутанули.

Вошли в лабораторию. Спёртый воздух, настоящий на химикатах, ударил в нос. Чагин поспешил к окну. Открыл форточку. Редкин обиженным лицом смотрел в стеклянный шкафчик. На полках стояли пустые жёлтые банки. Читая надписи, редактор что-то невнятно и безрадостно бормотал: «Нужен метол и сульфит натрия... Пусто. Ничего нет. Хотя бы гидрохинон. Сходишь на кожзавод, может, у них есть какая химия. Посмотри в справочнике рецепты проявителей. Выпиши самые простые... Здесь должна быть фотобумага. Надо зажигать лампу в красном

фонаре. Иначе засветится. Я — в юности пытался освоить даггеротипию. Были какие-то познания, но выветрились со временем».

— А давайте делать двухполосную газету? — вдруг сказал Иван, выходя за редактором в коридор. — У нас была в дивизии. Отпечатаем сейчас первую и четвёртую полосы. Они готовы у нас. Вместо четвёртой напишем — «вторая». Переставим набор местами и вторую сторону отпечатаем. Потом разрежем разворот. Получим двухполосную газету. Бумаги меньше...

— Оперативность можем поднять. Материалу меньше... — Редкин смотрел на Ивана и восторженно крутил головой. — Это многое меняет. За ночь успеем отпечатать. Вот только бы Гребневу понравилась твоя идея. Где вы раньше были, Иван Филиппович? Это же в корне изменит всю нашу работу. Не придётся так напрягаться. Экономия бумаги. Зачем нам четыре большие полосы? Будем выходить два раза в неделю... Пойдемте к Гребневу. Я позвоню ему сейчас же, чтобы он нас принял без проволочек. Вы ему всё расскажете. Как коммунист — коммунисту. Он вас быстрее поймёт. — Редкин улыбается серым лицом, заботливо глядя ореховыми глазами Ивана. Его мужественные губы озаряет медовая улыбка, и даже шрам на лбу становится не таким страшным и рваным. Он словно сглаживается, уползая в пышную каштановую шевелюру.

б.

Фиолетовый чернильный сумрак, замешенный на сочащихся из труб дымах, выцветал с каждой минутой. Город зябко просыпался. Под окнами на грязном снегу стелились жёлтые ленты света. Слышались редкие ленивые собачьи голоса, простуженный скрип колодезных ворот и журавцов. У здания уездного

комитета партии толпились люди, посверкивая злыми волчьими глазами огоньками сигарок и папирос, громко переговаривались, толкали друг друга.

Днём снег нехотя подтаивал. Крыши и заборы темнели. Кусты сирени не успели скинуть листву. В лужах истоиво купались крутобокие облака, принимали последние ванны воробьи. К вечеру бахрома кривых сосуллек, спускающаяся с крыш, грозила сверкающими пальцами, напоминала о недалёких морозах и буранах. У Воскресенской церкви расцвела, обманувшаяся теплом, рябина. «Не к добру, — сказала тётя, глядя, как племянник Иван проверяет собранный накануне вещевой солдатский мешок. — Надо рубить такое дерево».

— Что из того. Зацвело. Так получилось. Ошиблось. Перепутала осень с весной. Вот и украсила себя цветами, посмеивался Иван, укладывая две овальных гранаты, пачку патронов в картонной коробке с синей полосой.

— Обманулось. Это плохо. К худу. Зима будет, а не весна. Зима — это смерть. Всё и вся имеет свою весну, лето, осень. Зимой не живут. Мудрость народа.

— Вы тётя, философ, сказал Чагин, натягивая подшитые серые валенки, сидя на голбце, рядом с котиком.

— Будь осторожен. Говорят, что скоро кончится новая власть. Отцветёт, как рябина. Видано ли, в Самаре церкви закрыли. В монастырях всех монахов разогнали.

— У нас Гребнев не допускает такого беззакония. Службы идут. Люди должны молиться в храме. Этого нельзя отнимать.

— Есть кто и повыше Гребнева твоего. Прикажут. Он должен выполнить директиву. Ослушаться не сможет. Только до переворота сирот было меньше.

Третий раз Чагин едет с Гребневым в рейд по уезду. И всегда чувствует волнительный холодок, словно перед атакой. Укомовцы организовали сельские Советы. Гребнев развозил газету по сёлам, снимал одних председателей, назначал других, занимался реквизицией оружия, самогона и военного снаряжения, которого в деревнях скопилось много после войны, которая вихрями катилась по уездам большой Самарской губернии.

Материалы Ивана походили на фронтовые донесения, списанные с телеграфной ленты. «Дайте картинку, требовала Пожарская. Покажите, что и где происходило. Не могли эти люди разговаривать одинаково. В темноте услышав человека, можно сказать о нём очень многое. Послушайте, что вы пишете. Через жест покажите отношение к событию, к близкому, к еде. Смотрите на руки, на лицо. Слушайте. Врач не может говорить, как конюх. Оставьте. Я помогу. Не теряйте времени. Его величество Опыт приходят к тем, кто много работает, работает до пота, до изнеможения. ...Почти, как Редкин. Он одарённая личность. Но не может идти в ногу со временем. Не получается. — Смуглая кожа Пожарской, освещённая ярким светом, оказалась не гладкой, а с лёгким пушком, незаметным, но существующим. Это открытие потрясло Ивана. Над верхней губой угадывались тёмные крохотные волоски. «Где же я её видел?, терзал память. — Мы встречались! Мы были знакомы. — Он перебрал фамилии тех, кого не забыл. — Знал ведь её раньше. Знал... Кто она?»

...Дезертиры подкарауливали активистов-селькомовцев, а те в свою очередь, ловили их и расстреливали «при попытке к бегству». Землю во второй или третий раз поделили по едокам. Из-за клочка, из-за межи бились брат с братом, сосед с соседом. Мирились. Пили до беспамятства самогон. Молодые ходили с гирьками и кистенями на вечерки. Мазали ворота дёгтем, раскатывали бани. Новая власть у многих зажиточных была костью в горле — вытащить нельзя и не проглатывается. Бедняков она радовала, особенно тех, кто не работал при царе, не собирався потеть и при Советах. Требовали семена, лошадей, кричали на собраниях громче всех ленивые и наглые. Бывшие казаки каялись, умоляли простить за ошибки, старались угодить новой власти, отдавая в коммуны коров и лошадей.

Скрипела упряжь. Щёлкал кнут. Из полумрака доносились молодые голоса. Впереди на поворотах видел Иван двое розвальней, силуэты парней в дохах и тулупах. Позади катились пароконные сани с зачехлённым пулемётом системы Гочкиса, установленным на самокованную треногу, собранную из металлических прутьев церковной ограды. Пулемёт Шоша лежал поверх волчьей полости в ногах у Чагина. На козлах переговаривались два красноармейца. Ему казалось, что голос одного ему знаком с давних пор, но вспомнить не мог, ни имени, ни фамилии.

Отношения с гребневскими ребятами не складывались. Сам виноват был в этом. Когда работал секретарём, не важничал, но загрузив себя работой, не общался ни с кем. В городе помнили, что Чагины имели большой дом с полуподвалом и двумя этажами. Считали их буржуями. Отцов брат был председателем

суда, товарищем прокурора. Отец ведал железной дорогой, был попечителем училища, водил дружбу с мастерами из депо, но ездил в гости в своей коляске к богатым горожанам, у которых была торговля в руках и промышленность степного городка. Дед Чагин был знатного казацкого рода, отличился на службе царской и был пожалован деревней где-то в крымской губернии, но выйдя в отставку, проигрался, хотя детей своих выучил, откупив от службы. Старший сын был юристом, уехал в Польшу перед февральскими событиями. Иван жил после гибели родителей с тётёй и старшей сестрой Лизой, которая вышла замуж за инженера мостостроителя. Оставив записку, Иван отправился в Самару. Сестра уехала во Францию. Известий от них не поступало. Отцова сестра пыталась сбересть добро брата, но её яростно выбросили на улицу анархисты, разрешив взять кое, что из одежды и постельного белья.

На поворотах скрежешут полозья саней по мёрзлой каменистой земле. Искрят самокрутки парней. Это в книгах красиво воюют. Похоже, не доводилось ни Куперу, ни Вальтеру Скотту в штыковые атаки ходить. Не писали они в своих романах, как пахнут посеченные шашками люди, какого цвета у них внутренности, какими глазами смотрят на свои оторванные конечности и вывалившиеся в придорожную пыль внутренности. Да и нужно ли писать, как уродуют друг друга русские люди. Смотрит Иван в степь. Придрёмывает. Тоскует его нежная душа. В который раз он видит один и тот же сон. Разлившийся изумрудный Нил, высокие пирамиды, сверкающие на ослепительном солнце. Кареглазая египтянка идёт к нему со своими слугами. И себя видит, вроде как со стороны, с высоты смотрит на свой

окопчик мелкий, на винтовку. Дождь. От ствола пар поднимается. Отступила дивизия под самый Уральск. Разбили казаки штаб. Порубили ранёных и обозников. Тяжко и горько. Двадцатидвухлетний Иван Кутяков командует дивизией. Идут на Гурьев. Холод, голод и тиф.

...Не желают белополяки покидать Украину. Дивизия носит имя Чепаяева. Только нет его. Никто не знает, где могилка. Тяжёлые бои. То наступали, то отступали. На улице Житомира на полном скаку полетел через голову Иван Кутяков. Несут его контуженного и раненного, а он умоляет шашку найти. Ту, которую вручил ему Василий Иванович, большую шашку, дамасской стали, украшенную серебром. Это была его мечта. «Заслужи, — говорил начдив, будто поддразнивал парня, который не так давно женился на гимназистке Клаве Додоновой из Уфы. И заслужил. Толпы приводил пленных. Дивизию белых разделал под орех. Перед строем снял Чепаяев свою шашку с себя и подал другу. А Кутяков застеснялся вдруг. Жалко стало Чепаяева. Без шашки он стоит, словно голый в предбаннике. Вроде, как и отказывается. Но Чепаяев улыбается в усы, подаёт награду. «Бери, бери. Заслужил». Весело в ротах и полках. Рады за Ивана. И нет чепаяевской шашки у Кутякова. Пропала. Чьи-то заботливые руки прибрали потерю.

«Где-то она есть, у кого-то спрятана. Такое оружие не может ржаветь напрасно в канаве». — Думает Иван. Тепло ему. Расцветает он, как рябина у храма. Воспоминания накатывают, как мягкие волны, нежно приглаживают. Жизнь Ивана делится на два периода: до войны и после. Только забыл он всё, что было у него в детстве. Даже дом свой не узнал, а вот тётю почти

вспомнил. Её не просто забыть. Только она его понимала. Пьют фронтовики. Пьют. Каждый день в самогонном угаре проходит. Так легче. Так проще. Когда трезв, тяжело смотреть на мир. Не нуждается в дружбе кичащихся своей властью мальчишек-чоновцев. Не пьёт с ними самогон. Не участвует в соревновании по стрельбе. С одной стороны он командир роты. Хотя и бывший. Гребнев назначил его командовать отрядом самообороны. Вот только на его улице и двух переулках четыре человека согласились служить новой власти. Все пожилые. Покалеченные. Рады получать паёк, но по тревоге Иван не может их собрать. Прячутся. Собранный гарнизон состоит из двух взводов. Наглые и всегда с похмелья парни ходят с кавалерийскими винтовками, иностранными карабинами. Им доставляет удовольствие стрелять в человека. Они уверены в своей безнаказанности. Они тупы и не образованы. Выдают себя за политических. Но некоторые отбывали за грабежи и разбои. Чагина сторонятся. Прикрываются мандатами, в партию лезут с писком. Комсомольцами называют себя. Грабят крестьян. Ищут оружие, а тащат сало и самогон. Борется Гребнев с мародёрством. Наказывает. Боится палку перегнуть. Не дурак. Боится остаться в одиночестве. Но понимает, что на сегодняшний день у него нет, и не будет иных помощников. Другие — честные и преданные не придут. Дома сидят. Со страхом и надеждой ждут возврата старого. Им страшно. Кажется, что весь мир, в самом деле, разрушен до основания. И эта разруха будет долго жить в городах и сёлах, отравляя мысль о вере в будущее, которое придёт и будет ласково сладкой, как апельсин.

Не о такой жизни он мечтал, когда с другом Дудкиным Степаном тайком бежали к Чепaeву, когда, лёжа в окопчиках на жаре, отбивали атаки мальчишек-офицеров. Молодые и симпатичные прапорщики и подпоручики шли парадно. В деревне Вотюкеево петухи пели. Встающее солнце слепило чепаевцев, всю ночь копавших траншеи. Полки переправились через реку. Перевезли на барже броневики. Один свалился с помоста, подняли, поставили. Иван и его приятель с разрешения покинули обоз, в котором были декорации театра. Анна Фурманова разрешила идти в бой. Числились они политбойцами. Сидеть в обозе не могли. Наступление по фронту, нужно брать Уфу, как взяли Чишму. Девчонки ткачихи выносили бойцов раненых у деревни Новая Каргала, где были ожесточённые бои. Двадцатилетняя комсомолка Лидочка Челнокова вступила в отряд особого назначения Михаила Фрунзе, который влился в 220-й полк 25-й дивизии, несколько раз была ранена. Увязалась за старшим братом Александром, участвовала в боях за Лбищенск, за станицу Сахарную. Была тяжело ранена в этом бою и отправлена в тыл во время отступления к Уральску. Клочкова Таня в перерывах между боями учила грамоте боевых товарищей. Она была учительницей из Сызрани. Перебегая к раненому, была убита. Поднялись, не сговариваясь, бойцы и кинулись на врага, сметая всех на своём пути. Разве могли они кормить лошадей, когда такие отчаянные девушки шли в бой.

Пуля попала с самолёта Чепaeву в голову. Переправу через Белую обстреливали и бомбили с аэропланов. Впереди Уфа. Врач Жемков клещами плотницкими вытащил застрявшую в кости черепа пулю. Забинтовал голову грустного начдива. Иван

Кутяков взял переправу дивизии в свои руки. Помчались конники по берегу реки, выискивая лодки, будары, чтобы переправить броневики и орудия. Отняли пароход, прицепили баржу, на которую скатывали «Ланчестеры» и «Остины». Переправляли на другую сторону. День прошёл в угаре. Второстепенное направление, отводимое 25-й, стало главным. Другие полки и дивизии не справились с задачами. Чепачев с Кутяковым справились.

Утром рано ел Иван яишню на сале, как к нему ввели печника. В волнении рассказал, что ночью переплыл реку, чтобы сказать, как утром пойдут полки белых в «психованную» атаку. Иван не знал, что такие атаки бывают. И приказал рыть траншеи и установить на прямую наводку орудия, на флангах выставить все имеющиеся пулемёты. Конницу и броневики спрятал в резерв.

Они тогда ещё не ожесточились. Жалели сверстников, падающих и корчащихся от боли смертельной. В снах и полудрёме видит Иван глаза. Чужие. Болью безутешной окаченные. Много этих укоряющих немых свидетелей страшного и горького. Глаза жалуются и тоскуют.

Не будут встречать ребяташки чумазого от угольной пыли и мазута Степана Дудкина, машиниста паровоза. Это был такой друг! Если обойти все страны, другого похожего на него, не найти. Может быть, и остался под солнцем, не смани он его тогда. Кто знает, кто кого сманил. Сейчас вместе ходили бы в клуб, плевались подсолнечной шелухой, угощали комсомолок жмыхом и тискали их в тёмном фойе кинозала. Может быть, работали вместе. Мечтали о том новом государстве, которое они завоюют, в котором всё будет

по справедливости, по совести. У всех будут блины по праздникам и блестящие атласные шаровары, а жилетки — красного бархата. Не получается по справедливости. Не выходит. Пока. Даже лепёшки с отрубями не все едят. Неловко Ивану приносить свой паёк. Тётя в детском доме получает гнилую капусту, прогорклое масло, стакан пшена с чёрными мышинными вкраплениями. Стыдно ему становится, когда выкладывает из мешка сахар, трофейные мясные консервы, коровье масло, рисовую крупу, белую муку, осетровый балык, чёрную икру. «Нет справедливости, — думает Иван и тошно ему становится. — За это ли воевали?»

Из губернских организаций наезжают важные уполномоченные в автомобилях, в иностранных пальто, в галстуках и шляпах, пахнущие одеколоном. Глаза наглые, спокойные, лица — свежие, сытые, самодовольные. «Эти построили социализм, но только себе, а народ так и будет за кусок хлеба работать. Неужели всё было зря? — задаёт себе вопросы Иван Чагин — коммунист и не находит ответа. — Хорош Гребнев. Окружил себя подхалимами, которые ему в рот глядят. Любимые песни секретаря выучили, чтоб на гулянках петь. Выгнал писаря, который за гуся справку выдал. А справка кому? Надо разобраться. Выгнал одного, а другого принял. Тот в коридорах комсомолок тискает, а те хохочут и конфеты у него берут. Скотов надо таких стрелять, а не в партию принимать. Что сам Гребнев видел? Писать не умеет. В окопах учён, на бронепоезде ликбез проходил. Где Австралия он знает, кто такой Байрон — лучше не спрашивать. Такое время. Он и сам не рад, что приходится заниматься разными вопросами, которые всегда неотложны,

которые требуют его вмешательства. Есть исполком, есть аппарат, который всё больше о пайках думает, а не о решении городских проблем. Гребнёв сам виноват. Не требует с подчинённых планов работы, не контролирует исполнение их. Сам, везде сам. Не доверяет. Не умеет руководить? И то и другое. Решает Иван.

Прошёл тревожный месяц гражданской жизни. Трудно Ивану вживаться в новую жизнь. Не понимает её. Двусмысленная какая-то она. Две правды у народа и у новой власти. Как понять её? Привозит материалы из рейдов. Ждёт, когда Екатерина Дмитриевна прочитает его новые зарисовки, писанные вечерами в сельских избах при свете коптящих ламп, под пьяные выкрики парней, отбирающих у крестьян оружие, а если подвернутся самогон, сало, не побрезгуют. Попробуй пожалуйся. Подбросят парочку обойм, доказывай, что ты не верблюд.

Катя понимает эту новую жизнь. Она легко разбирается в ней, старается помочь людям вникнуть в её суть. Ничто её не волнует и не тревожит, так как у неё нет сомнений в правильности партийного курса. О НЭПе говорит много, потому что много читала брошюр и газет, поясняющих необходимость новой экономической политики. Вот такая она умная и красивая.

7.

Малиновый шар продрался сквозь предутреннюю мохнатую пелену, начал набухать кроваво, заполняя край неба над степью, над сёлами. Переночевав на хуторе Силкин Кут, прочитав лекцию о предстоящем севе и, вручив секретарю комсомольской ячейки две газеты, отряд поехал дальше. Иван думал о том, как лучше написать материал о проверке семян, о том, что

молодёжь учит стариков и старух читать и писать. Гребнев от скуки затеял беседу с расспросами. Иван отвечал неохотно и лениво. Секретарь заседал, пытался растормошить его.

— Какие тёмные личности посещают редакцию?

— Никаких не заметил, пишу заметки. Теперь вот и фотокарточки начну делать. Не умею. Надо мне на учёбу съездить в Самару. Не осилю...

— Надо. Поедешь учиться. Сейчас не об этом. Тебе мандат дал? Ты любого подозрительного можешь арестовать и по телефону вызвать конвой. Бдительность. Оружие у тебя всегда должно при себе находиться. Война не кончилась. Надоела? Ты коммунист? Враг не спит. Нас не станут судить за свержение строя мироедов — капиталистов. Нас вздёрнут на рее без суда и следствия. Мятеж — штука горячая. Мы пришли, чтобы сделать народ счастливым, чтобы он никогда не чувствовал себя быдлом.

«Конечно, — подумал Иван с презрением. — Одни раны получают, а другие коньяки пьют и шоколадом немецким заедают. Царь тоже о народе пёкся, да отрёкся. Чего ждал? почему не уехал в Англию?» — Но сказал:

— А народу нужна эта новая жизнь? Его кто-то спрашивал? Народу лучше не стало от войны и переворота. Государство разрушено и раздавлено. Благо смогли отбиться, а если бы не смогли? Всю Россию интервенты поделили на куски. Я видел эшелоны с украинским чернозёмом. Грабили и увозили...

Гребнев огорчённо стукнул кулаком по своему колену.

— Ты так и ни хрена не понял! И не поймёшь. Не осуждаю я тебя, не обвиняю. Ты жил на всём готовом. О

хлебе никогда не думал. Голодным спать не ложился. По улицам не ходил с протянутой рукой. Ты, Ваня, не унижался ради куска плесневелого хлеба. В шкуре попрошайки не был. Твою мать не пользовал хозяин квартиры за калач. Я бы мог учиться в гимназии? Мог. Но обстоятельства оказались выше моих желаний. Надо было работать, заботиться о семье. Ты наш хороший попутчик, но ты не понял сути революции. Ты думаешь, что потери были зря?

— Кажется, что всё это случилось напрасно. Народ ничего не получил хорошего после войны. Заводы стоят. Безработица и бандитизм. Спекуляция и беспредельные требования чиновников. Налоги не отменили. Эксплуатация осталась.

— Поэтому организовал школу для бедноты. Ликвидация неграмотности поголовно должна быть. Впереди у нас такая будет жизнь, что и умирать не захочется. Заводы заработают, фабрики загудят. Я — тебе обещаю. Только не падай духом. Мы победим. В каждом селе построим школы. Слово даю. А мысли свои контрреволюционные оставь при себе. Как яд тебя отравят. Разве ты не видишь, что встаём с коленок.

— Вижу саботаж и расстрелы.

— Не кисни. Хочу поставить тебя комиссаром по народному образованию. Человек ты честный. Энергичный и толковый. За это я тебя ценю. В редакции навёл порядок. Оживил работу. Делаешь свою работу незаметно, без крика, а сделал много. Дрова заготовил с комсомольцами для приюта. Слежу за тобой. Всё как-то незаметно, тихо. Детишки в тепле. Я — сколько с лета бился над вопросом заготовки дров для учреждений. Человек есть, отвечающий за топливные проблемы.

Старается. Вижу. Но не может, как ты говорить с народом. Чем ты с ними агитацию ведёшь?

— Не веду агитацию. Говорю парням, что надо. Когда в клуб приходим. Спрашиваю — холодно? Говорю, что никто нам не затопит печки. Айда завтра на Харину гору, сушняк валить. Чего горло драть? Криком никого не испугаешь. Мы в атаки ходили без страха, без боязни. Никто не орал на нас. Не пугал. Комиссаром не пойду. Рановато.

— Надо, Ваня. Ты здешний. Твоего отца помнят. Твои дядьки никого не обидели зря. Тут много приезжих чужаков. Они временные. А ты — постоянный. Пойдут за тобой за милую душу. Докладывают мне о твоих субботниках, которые не запланированы. Они нужны. Они народ сплачивают трудом. Ты думай. Пожарская — она по-другому себя ведёт. Вроде как дворянского сословия. Тоже местная. Наседает на меня. Требует.

— Работает за семерых...

— Это, браток, подозрительно мне. Пылит. Телефонировать почти каждое утро. Надо садик для работниц открывать. Напирает дерзко, без страха. Столовую открыли на кожевенном заводе. А что такое садик — не знаю я. Люди голодают. Да. Разруха вокруг и кругом. Она мне заявила, что сахар я выдаю на пайки в большом количестве, а на базаре укомовские торгуют им через подставных лиц. Она лучше меня знает положение в уезде. Ты своё дело сработал, и молчок. От неё инициатива идёт. Так должна газета себя показывать, что она имеет силу и власть. Пожарская эту власть хочет использовать в своих каких-то целях. Ценный работник из неё получается. Она себя показывать не стесняется, как ты. Она пишет, что газета

добилась, что уездный комитет и исполком обратили внимание и сделали столовую. Просекаешь? Газета имеет авторитет и власть. Мне это лестно, но иногда оторопь берёт. Нам надо вместе тянуть вахту. Получается, что газета себе, а партийные органы должны подчиняться газете, делать так, как написано. Покритиковала газета в лице Пожарской исполкомовских работников за плохую дисциплину и работу. Через неделю публикуется резонанс. Дескать, меры приняты. Газета добилась открытия столовой, школы, библиотеки. Деды омшелые учатся грамоте, домохозяйки ходят букварь читать, слушать громкие читки газеты. Дети концерты ставят в клубе. Комсомолята и пионеры проводят сборы цветного металла для заводов. Ты не звонишь. Она звонит.

— Девчонки всегда были ябедами.

— Тут, что-то не так. Она рвётся к власти. Используя свой ум и газету, делает себе лицо. Целится в какой-нибудь отдел исполкома. Кто её возьмёт без партийной книжки? И ей надо в партию вступать. А зачем?

— Привык докладывать по начальству, а не прыгать через голову. Редкин побаивается своего положения. Не хочет высываться. Поэтому и не звонит. Я — ему докладываю.

— А мне он не рапортует. Посылает тебя. Инициативу поддерживает твою, но не хочет, чтобы он был соучастником. Работает. Тянет свой возок. Ждёт, когда власть сменится. Поэтому и боится активность свою показывать широко. Таких много у нас. Понял, почему она поднимает вокруг себя пыль, а он не хочет выделяться. Чужаки. Своими они нам никогда не станут. Так и должно. Золотая клетка соловью не

потеха. У них отняли всё. Отняли заводы, фабрики, капитал. Дети и внуки ихние не смиряются. Русские люди редко смиряются, редко теряют свои обиды. твои родичи не были капиталистами. Обслуживали капитал. У них не было пароходов. Не было сотен десятин земли. ...Нам все рады? Нет же. Сам видишь, что эта разруха им на руку. Наша власть им не сладка. Отняли не только дворцы, земли, но и отняли право ездить на человеке. Эксплуатировать, измываться они больше не могут. Вот ради чего мы гибли. Понял? Политграмоту я тебе читать больше не стану. Как бы ты себя вёл, если бы тебя всего лишили и пустили голым на панель? Как бы ты поступил?

Иван задумался, глядя на розовеющие снега, на балки и глинобитные руины какого-то хутора. Ему вдруг показалось, что когда-то он ехал морозным утром, видел это небо, дорогу. Вот также скользила кошева, помахивала хвостом пристяжная. Ветер доносил запахи конской мочи и горьковатой полыни.

— Я бы уехал.

— А если бы не, с чем было ехать. Значит, что? Нужно выждать. Нужно приспособиться, чтобы изнутри расшатывать наш корабль. Дырки вертеть в бортах. А для этого нужно тихо пролезть в руководящие органы. И вредить. У нас мало грамотных. Мало толковых. Мало инициативных товарищей. А они вот, как баннушко из табакерки. Берите нас, мы вам поможем строить социализм. Согласен? Смотри шире. Их много пролезло, — тихо сказал Гребнев, дыша луком и кислым хлебом. — Шуршат бумажками в отделах. Как тараканы. Нас скоро спихнут. Таких идейных, но безграмотных заменят. Не дай им это сделать. Пришла новая коварная сила и захватила власть.

— Я об этом и пытался сказать. Напрасными были большие потери... — Иван подумал, что в словах секретаря есть правота. Уберут малограмотных Гребневых, поставят других Гребневых. Что-то может и измениться, но когда это будет. Не скоро.

— Подожди, Ваня, — шептал председатель. — Пробьют и наши склянки. Не паникуй заранее. Лапки нам рано поднимать. Что-то готовится. Лучше арестуем двух невиновных. Упредить надо мятеж. Подавить в яйце. Смотри не только глазами, но и сердцем. Мне вот кажется, что оружие, которое собираем, а потом свозим в Самару, вновь возвращается, но в другие уезды. На складах пустовато, братишка. Я — не паникёр. Анализирую. Мордатые надушённые уполномоченные в кожаных пальто. Где они были, когда нас гоняли по ссылкам?

Теперь они из рабочих и крестьян. Руки выдают. Ручонки махонькие не рабочие. Гляди всегда на руки, Ваня? Они всё расскажут о человеке. Пойдёшь в секретари? Надо. Они тебя примут. Ты из ихнего гнезда. Воевал. Награждён. Никому не говори о нашей беседе. Так надо. И не возражай мне. Сначала будешь комиссаром по образованию.

А день начинался пронзительно-светлый. Играл разноцветными искрами юный снег. Даже перила мостика перед деревней Сухополье, опушённые пеной инея, пускали оранжевые и фиолетовые лучики. От спин лошадей поднимался прозрачный курчавый пар. Пахло дёгтем, кислой овчиной, ружейной смазкой и будущей тревожной жизнью.

Иван вспомнил, что Екатерина Дмитриевна заботливо выслушивает жалобщиков, записывает фамилии и должности виновников волокиты. Звонила

Гребневу, требовала принять меры и устранить бюрократов, наказать саботажников. И что-то сдвигалось с места, что-то исправлялось, но что-то не могло измениться, так как ещё шла война, ещё голод и тиф, а также бандитские пули уносили жизни тех, кто строил детям своим новую счастливую и справедливую жизнь. Газету уважали, газетой пугали нерадивых бюрократов. По каждой критической публикации Гребнев разбирался с виновниками, наказывал за малейшую провинность. Однажды Иван слышал, как он распекал своего красного чиновника за волокиту и вымогательство.

— Ты што думаешь, новая наша власть пришла утеснять рабочего человека? Поборы устраивать захотел? Ты с кого курицу выпрашивал? С рабочего из депо? Твой отец кем был? А ты кем стал? Тебе партия доверила заботиться о человеке. А ты что? Ключи на стол. Пойдёшь смазчиком на дорогу. Если что замечу, партийную книжку на стол положишь. Нам такие красные дворяне не нужны. — Гребнев с такой силой ударил по столу кулаком, что большая бронзовая лампа с оранжевым абажуром подпрыгнула и свалилась на пол.

— Понимаете товарищ секретарь. Бумажка затерялась. А Каравайкин жаловаться. Больше такого не будет. Слово даю. Партийное.

— Не в этом вопрос. Ты за справку курицу просил? Просил. Не царское время народ обирать. Ты не понял почему флаг у нас красный? Потому что полита кровью наша власть народная. А ты решил, что флаг сменился, а ухватки прежних хозяев остались? Нет, Гурышкин, нет. Красный чиновник взяток не берёт. Не брал и

никогда брать не станет. Всё. Ступай. Ключи от кабинета положи на стол.

Когда куролуб покинул кабинет, Гребнев вздохнул, потирая кулак:

— Понять могу его. Что он видел? Ничего он не видел. Я — виноват в подборе кадров. Пропустил этого дворянчика. Он и возомнил себя. Напиши об этом, Ваня, случае в газету. Пусть все задумаются. Спроси у него, почему он решил, что можно своих рабочих обирать. Паёк у него хороший. А он за справку, якорь ему в глотку, требует курицу. Все должны знать о том, что советская власть будет карать мздоимцев. Пусть теперь другим пайком кормится. Жалко подлеца. Исполнительным был. Воевал. В партию вступил под Перекопом. Был бы пришлый, а то местный. Его отец в депо работает на станке. А что делать прикажешь? Врач говорил, что нужно отрезать обмороженные пальцы. Тогда ногу сбережём. Резать надо гнильё. Драть с корнями царскую отрыжку. Напиши обо всём этом. Я тебе ещё случаи расскажу. В Луковольской волости подобное было. Я того председателя волкома сместил. Мы с тобой там были. В прошлый путь.

Корреспонденция получилась яркая и хлёсткая. Пожарская удивилась. Редкин похвалил. «Второе дыхание открылась, друг ситный. Это почти фельетон. Скоро меня за пояс заткнёте. Умел я писать фельетоны. Встречали, может, в «Губернских ведомостях»? Медынский у меня был псевдоним».

8.

В селе Малая Грушица остановились на постой в чистой избе у писаря волостной управы. Эти места были знакомы Ивану. Весной девятнадцатого года здесь шли бои за Белебей. Потом была Уфа. Стояли севернее

города, вверх течению Белой в селении Красный Яр. Прибыли раньше других соединений на два дня. Иван положил свой мешок под деревянную кровать, сунул в карман пистолет и отправился по селу собирать молодёжь. Когда-то была комсомольская ячейка, но с началом зимы парни разъехались в города на работу. Расспросив мальчика в рваном кожаном сапоге, Чагин, заметив у высоких ворот трёх парней с сигарками, направился к ним. Сразу понял, что не будет разговора. Хорошо одеты юноши. В сапогах, в распахнутых полушубках. Лица гладкие и красные от выпитого вина. Смотрят на Ивана полупрезрительно и надменно. «Из казаков, — решил Чагин. — Такие ребята с обрезками гуляют вечерами по селу. Они тут вершат суд и расправу. Большое село и богатое. Даже война не особо оставила свой след. Нет сгоревших хат и домов».

— ...И ты будь здоров, — отозвался на приветствие коренастый парень с перебитым носом.

— Чего вынюхиваешь? Красная ящечка? — Хохотнул высокий в белой кубанке юноша призывного возраста.

— Сала захотел. Вот и прикатил. — Начал приплясывать рябой хлопец в войлочных сапогах и в старом полушубке. — В городе сала нет? К весне и не будет. Живоглоты ездят и ездят...

С колокольни донёсся брякающий звон. Будто колотили в колотый чугунок. Сигналят. Но кому? Иван обиделся на такой приём. Хотел достойно ответить контрикам, но сжал свою гордыню в кулак и невозмутимо сказал:

— Сало есть. И хлеб есть, а вот патрончиков бы к этой машинке купить — не мешало бы. — вынул

длинноствольный пистолет «Парабеллум». Парни замешкались. Уважительно поджали губы.

— Девятый калибр. Нету. Хоть бы и были, не про твою честь.— Проворчал коренастый парень, запахивая шубу.

— Может, кто продаст. И надо-то пару десятков. Деньги есть. Смогу сменять на бомбу. — Показал ручную яйцевидную гранату Лемона, называемую красноармейцами «лимонкой».

— Иди провокатор. Не обломится. Оружие сдали. — Злобно плюнул на снег высокий парень в новой шапке-кубанке.

По улице мчались сани. Стоя, правил боец из отряда ЧОН. Увидев Ивана, махнул рукой и стал разворачивать коня.

— Падай в сани. Гребнев кличет. Срочно. Уезжаем.

Перед полднем отряд въехал в село Замётное. Солнце растопило снег на дороге. В колеях образовались грязные ухабы. Не останавливаясь у сельского совета, направились к последнему куреню, находившемуся немного поодаль от улицы, на краю старой балки. Гребнев вызвал хозяина, попросил запереть в амбар собак. Хозяин испуганно крестился, щурил круглые жёлтые свиные глаза.

Пригнали с огорода трёх тупомордых волов, надели деревянные хомуты — ярма. Начали быстро раскидывать деревянными вилами солому. Иван увидел сначала башню, пулемётные щитки. Разобрал полузатёртую надпись: «Перунь». В полумраке обрисовался тёмно-зелёный корпус боевой машины. Парни пытались выкатить на свет броневик, чтобы удобнее было пристроить верёвки с быками. Через час из овина зажиточного крестьянина выволокли в улицу

новый «Ланчестер». Это была высокоскоростная английская машина, имевшая два пулемёта и пушку, самую толстую броню и запас горючего на 180 километров. Гребнев проверил баки. Потребовал тёплой воды.

— Как хлеб-соль? Приготовили встречать нас. Загляни в трюм, есть ли ленты и снаряды. Знакома такая машинка? — Хромая на деревянном протезе вокруг броневика, хмыкая, качал головой секретарь.

— Приходилось ремонтировать. Помогал снаряжать. — Ответил Чагин, заглядывая в темноту боевого отсека.

Запасливые мужички тащили с полей войны оборудование, оружие, надеясь приспособить в хозяйстве, или обменять на что-нибудь более полезное. Каждый крестьянин — это ещё и солдат, и матрос. Может не только пахать, но и торговать на базаре, собственными продуктами, если окажутся излишки.

— Товарищ секретарь. Возьмите от греха подальше. Ведь хорошая машина. Недавно нашёл в Шпильной балке. Приволок. Думал снять лишнее и плуг цеплять. Лошадей на войне побили рабочих, а пахать надо, — сепетил по-бабьи, сухопарый мужчина с изуродованной правой рукой.

Осмотрел Иван колёса. Удивился. Чистые. Нет на них свежей грязи. Сунулся в овин. Тоже чисто. Если бы тащили по снегу, по лужам, то обязательно нападало с колёс и осей разного сора. Выходит, броневик давно стоит в овине, в соломе замаскированный. Это сразу понял Гребнев, заливая воду в радиатор, приказал допросить хозяина, соседей.

Коренастый парень-казак уверенно крутил заводную ручку. Гребнев сидел в кабине, подкачал

топливо, проверил коробку перемены передач. Двигатель кашлял, но запускаться не собирался. Оказались баки полными. Ящики с пулемётными лентами и снарядами загружены полностью. Двигатель неожиданно громко кашлянул, выпустив большое белое облако дыма. Зарокотал строго и привычно. Толпившиеся парни попятнулись в стороны. Гребнев минут пять прогревал двигатель. На рокот броневика собирались любопытствующие крестьяне. Стояли группами. Перешёптывались, показывая пальцами.

Гребнев махнул рукой, указывая на сиденье. Иван достал раскладную фотокамеру, взглянул на солнце, дескать, условия съёмки хорошие, но секретарь, мотнул головой, приглашая занять место в башне. За селом Иван проверил скорострельную 37-миллиметровую пушку системы Маклена, пулемёты. Всё исправно и заботливо смазано свиным салом.

— Хороший грузовик получится, — мечтательно проговорил Гребнев, когда они вышли из машины на свежий воздух, встали на прогретую проталину с зелёными густыми стеблями озимых на краю. — Только с одной ногой мне трудновато рулить. Погонишь в город на обратной дороге. Надо хозяев поискать этой машинки. Не смог однорукий пригнать броневик. Помогали ему. Кто-то затаился в селе. Надо поискать. Хорошо бы остаться тут тебе. Комсомольцев нет. Работа в массах не ведётся. Знают соседи, кто ночует у этого хлебороба. Если обыски провести сразу со всех концов. Народу у нас мало. Помощь надо звать из города. ...А ты говоришь, — уехать. Вредить и здесь можно. Много пролезло их в руководящие органы. По всей Росси шуршат бумажками, как тараканы. Ты

парень умный и честный. Не давай им раскачивать наш линкор. Коварная сила захватывает власть.

— Зря, выходит, гибли?

— Рано паниковать. Рано... — говорил Гребнев, слюнявя сигарку. — Работать нам надо. Распознавать врага. А ты — лапки вверх ...

Иван сначала думал, что секретарь его проверяет. Он малограмотен, но в логике ему не откажешь. «Надо быть гибче, хитрей, — учила тётя. — Промолчи, если твой ответ не понравится другу. Не зли врага пустыми угрозами» Она права. И Гребнев прав.

— Может быть, и пролез один, ну — три. Власть нашу им не столкнуть, на старое не повернуть. Народ не даст. Это невозможно. ... Не обижаюсь. Не ребёнок. Зачем так? Серьёзным дело мы занимаемся. Не звоню. Не арестовываю. Фактов нет, доказательств. А попусту зачем? Ничего не докажем. Предположения — это, как говорили, к делу не пришивается. Таких, как Редкин много. Ждут своего часа. Боятся. Допрос ничего не даст. За всеми подозрительными невозможно проследить. Время покажет.

— Ваня, ты знаешь, что революции делают одни, а пользуются благами — другие. Это фактическая правда. Никуда не деться. Столкнут нас малограмотных. Вот и собираем оружие, чтобы в спину не стреляли. Тебя казаки проверяли, поляки учили. Война идёт без фронтов.

От села, лежащего в ложбине меж двух пологих холмов, бежали ребяташки. Они что-то вопили, размахивая руками. На взгорке парком зелёным исходили озимые посевы. Над дальнем берёзовым перелеском закружились потревоженные вороны. Похоже, их спугнули охотники на зайцев. А может

быть, и не охотники, а владельцы броневика, услышавшие пальбу.

9.

Пришла голодная зима. Тревожные злые слухи о новой войне приползали по змеиному, будоражили уставший народ. Волчьи стаи надсадно были на окраинах, нападали на редких путников. В лавках нэпновцев цены на продукты питания ползли вверх. Не было силы, которая бы остановила их. Городок уездный заносило снегом, который воровски шёл по ночам. Объявлялись воскресники по расчистки железнодорожных путей. Гребнев учредил «снежный паёк». Работающим с восьми до восьми выдавали полфунта хлеба, немного сахара и воблу. Кипяток был постоянным и бесплатным. Иван написал заметку бригадах из депо, до чернильных сумерек сам махал лопатой. Пришёл к тётке с воблой и хлебом. Сахар отдал соседскому мальчишке, который бросал снег деревянной лопатой, но так устал, что отведённый участок не смог осилить, и ему помогли женщины из укомовской столовой. Нога почти не болела. Во второй раз «на снег» пошёл Иван потому, что Катенька объявила на планерке:

— Иван Филиппович, Ирина Васильевна, завтра у нас коллективная вылазка на дорогу. Возьмите с собой хорошее настроение и лопату для того, чтобы наш пикник стал более насыщенным и полезным для здоровья. Надеюсь, наш печатный цех не будет возражать против того, чтобы попасть на трудовой праздник. Предлагаю сделать коллективный фотопортрет. Газете исполняется полный трудовой год. Давайте увековечим это событие. Иван Филиппович не станет противиться. Наш редактор разрешил истратить

на это дело пару пластинок и несколько листочков фотобумаги. Фотографироваться будем на крыльце, а заработанные продукты я получила заранее, мы их используем на общем чаепитии. Остатки сдала в приют детям. Это наш вклад. За нами должны пойти другие коллективы. Если у кого-то нет возможности выйти на снег, то пусть остаётся на рабочем месте, занимается повседневной работой. — Редкин молчал, оглаживая отросшую кривую бородку. Пожилой бригадир печатников, прибывший недавно из Балаково, дёрнул плечом в знак согласия. Корректор, она и машинистка, — сонная девица с васильковыми глазами, — кутаясь в шаль, сказала, что ей не с кем оставить ребёнка, но она сможет уговорить соседскую девочку на час другой последить за Дашуткой. Расходились, обсуждая предложение Пожарской.

Получив свою дистанцию, редакция и типография дружно взялась за работу. Волокрутов кому—то с осени заказал широкие фанерные лопаты, работать которыми было одно удовольствие. Иван нарезал снежные кубы и метал их с высоты полотна вниз. Несмотря на свою валоватость, Ирина в работе оказалась очень подвижной и старательной. Мужчины помогали ей, но она отмахивалась, говоря, что сама справится, так как каждое утро расчищает тропинку у своей хаты. Прошёл поезд с вагонами и платформами. Из классного вагона высунулся проводник в тулупе и с жёлтым флажком. Спросил название станции и спрятался за обледенелой дверью. Из паровозной трубы вырывался чёрный дым. Сальник пропускал пар и состав еле тащился, с натугой преодолевая лёгкий подъём перед станцией.

— Как бы я с радостью уехала в Крым. Хоть сейчас. Там ещё тепло, — сказала мечтательно Ирина,

краснея полными щеками. Лицо Екатерины почему-то было бледным и напряжённо— сосредоточенным. Работала медленно и расчётливо. Ни одного лишнего движения. Волокрутов и другие типографские сели отдохнуть. У них возник медный чайник. Они даже развели костёр под ним. Ветер развивал красные космы огня, клонил к снегу.

— Рабочий класс всегда находит нужный выход из положения, — сказал Редкин, подходя к Ивану. — Пойдём покурим. Больше половины сделали. Снег сегодня хороший. И ветер не особо сильный.

Пожарская отказалась от приглашения. Продолжала работать, как заведённая.

В понедельник утром Пришёл на работу рано. Хотел проявить фотопластинки, но Пожарская сказала, что нужно срочно сдать материал о броневике, который он пригнал в город две недели назад. Фотокарточка получилась контрастно и клише вытравили на этот раз неплохо. По крайней мере, оттиск получился что надо. Иван положил перед собой фотокарточку и задумался. Что-то не так был в большой комнате. А что он не мог понять. Обрезая края старых обоев, вдруг понял, что в приёмной пахнет дорогими папиросами. Редактор курит махорку. Раньше его здесь побывали посетители. Но когда. Он пришёл рано. Значит, кто-то тут курил вчера. С детства помнит это медвяный аромат папирос Дора. Но вчера они, сфотографировались при вспышках магния, недолго пили морковный чай, придя с работы на железной дороге. Ушли вместе. Редакцию закрывал, как обычно, Редкин. У сторожа свой ключ. Он им встретился. Кто бы мог вчера курить в помещении редакции газеты? Сторож страдает лёгкими. Табаком не балуется давно.

Ивана увлекла работа. Он оторвался от заметки, когда начала стрекотать печатная машинка под пальцами Негодяевой Ирины. Она раздражала его своим стуком, не давая сосредоточиться. Её звук можно было сравнить с тем, как падают мелкие дробинки в пустую консервную банку. Иван принялся править заметку, вычёркивая и вставляя слова. Как бы написала Екатерина Дмитриевна? Чтобы она изменила? Редкин иногда заменяет военные термины, то Пожарская не просит его объяснить что означают такие слова, как диспозиция, рокада. Они ей понятны. «Катя была на фронте, — решил Чагин. — Много читала, знает, эрудирована. Но нельзя всё знать. В войну люди поневоле понимают значение многих слов и терминов, так как слышат их постоянно, читают в газетах».

— Здравствуйте, — обратилась Пожарская к Негодяевой, принялась развязывать большую шаль. — Метёт сегодня опять. Давайте Чагин материал. Вижу вы его безжалостно кромсаете. Это хорошо, что критическое отношение быстро возникло у вас. Но не переусердствуйте. С водицей можно и дитяню выплеснуть. — Екатерина Дмитриевна, на минуту бросила руки на обогреватель печи, протёрла платочком стёкла очков, стремительно подошла к столу Чагина, стоявшего слева у двери в кабинет редактора. Иван поднял голову, подавая обойные листы. Пожарская с наигранной весёлостью смотрела через очки на Ивана, будто хотела предложить поход в кондитерскую «Дафнис и Хлоя» мадам Броневицкой.

Из кабинета редактора неожиданно почти что вымаршировали двое в длинных волчьих дохах. Ивану бросилось в глаза то, как мужчины держат головы, как идут, прижимая левую руку к тому месту, где должна

быть парадная сабля. «Арестовать, — мелькнула мысль. Вызвать конвой. Не по мужичьи осанисты, подтянуты, свежи. Что им вменить? В чём обвинить незнакомцев?» Вдруг Пожарская весело сказала:

— Не забудьте привезти красной краски. Хочется сделать отличный номер к Дню солидарности трудящихся.

— Обязательно привезём. — галантно кивнул головой тот, что был пониже первого.

«Офицеры. Выправка. Достань свой именной пистолет и арестуй врагов. Что ты медлишь? Они уходят...» Неожиданно для себя Иван вдруг громко скомандовал:

— Кругом! — снял браунинг с предохранителя. Мужчины замерли. Пожарская вдруг заговорила быстро, давясь смехом, но с некоторой взволнованностью:

— Знакомьтесь, — наш Ванечка. Воевал. Был командиром роты, награждён орденом, но его контузило на польском фронте и ранило... Он бдительный у нас. У него наградной браунинг от комдива Кутякова. А «Парабеллум» он не носит на работу. Тяжёлый очень. Калибр солидный. Два с половиной фунта весит. — Екатерина Дмитриевна вдруг заговорила с какой-то шуточной интонацией, будто собирается кого-то рассмешить. — Иван Филиппович, это комиссары из губотдела по вопросам прессы. Они поедут в Николаевский уезд, а потом в Самару. Завезут фотокарточки и газеты на выставку.

— Вот мандаты, — сказал уныло высокий, изображая на лице тоскливое недоумение. — Проверьте, Иван. Мы осенью приезжали. Неужели

забыл так быстро? Контузия — не сразу проходит. Мы найдём к Гребневу...

— Правильно делаете. Документы обязательно проверяйте у посетителей. Вполне могут приносить заметки и враги нашей советской власти, — иронизировал тот, что был пониже.

Иван смотрел на белые холёные руки, ногти были аккуратно острижены, нет чёрных окаёмок, заусениц, шрамов; напряжённо понимал, что мандаты могут быть и настоящими. Невозможно понять — кем были год назад эти люди-господа, чем занимались, какие выполняли работы. «Похоже, они и не воевали, не стреляли, а сидели где-то в штабе и переписывали приказы и диспозиции. Но чей это был штаб?» — задал он себе вопрос и не смог ответить. Когда посетители вышли, записал спешно номера и фамилии народных комиссаров. Это заметила Екатерина Дмитриевна. Огорчённо поджала губки, села за свой стол, разбирая записки для будущего номера.

«Я никогда не говорил ей о своём оружии. — размышлял с некоторой обидой Иван. — Откуда узнала? Даже известно сколько весит «Парабеллум». Не ошиблась. Килограмм без деревянной кобуры-приклада для прицельной стрельбы. Странно всё это. Довольно странно. Надо пойти к Гребневу и доложить. Пусть проверит, есть в губотделе Свищёв и Гельм. Почему они не собрали коллектив, не провели собрание, не рассказали о делах и проблемах в Самаре, о задачах партии. Обычно представители, уполномоченные, бывая в редакции, так делали. Эти говорили только с Редкиным. Говорили очень тихо. Им было, что скрывать? Обычно Чагин слышит о чем идёт речь в кабинете. Не подслушивает, но слышит».

...Он их никогда не видел раньше. Фамилии изменили, взяли другие, но вполне вероятно работают в губисполкоме. Уверены в себе, в своих документах. Гребнев прав, сказав, что старую гвардию отодвинут в сторону. Она безграмотна, не может руководить, как следует, чтобы строить новое общество, как указывает десятый съезд партии. Старики сделали своё дело. Теперь они не нужны, так как не понимают нового направления, считая его неверным. Военный коммунизм окончен. Нужно восстанавливать промышленность. Появилась частная торговля. Разрешено брать батраков. Гребнев считает, что это отступление от главных идей революции. И не только Гребнев против НЭПа. Большинство воевавших красноармейцев, не соглашались с партийной линией съезда. На собрании, когда обсуждали решение ЦК ВКП(б) об отмене военного коммунизма и начале новой экономической политики, коммунисты не были готовы к этому и были против. Замена продразвёрстки продналогом радовала крестьян, а вот развитие частной торговли и частных мастерских по производству мебели, посуды, и прочей ерунды встретили, что называется, в штыки. Появились извозчики, строительные артели. Заработали булочные и кондитерские. Кинотеатр вновь осветился рекламой. В газете много объявлений об открытии музыкальных и танцевальных классов, о работе частных парикмахерских и медицинских кабинетов, о продаже колбас, балыков, вин, о разных видах услуг, которые раньше преследовались законом. Сегодня требуются специалисты грамотные и разбирающиеся в новой экономической политике. На старых заслугах далеко не

уедешь. Одно дело шашкой махать, а другое — восстановить токарный цех в депо.

Иван видел, как бьют себя в грудь бывшие военачальники, как рассказывают, как они сражались с контрой, как проливали кровь. Теперь это стало забываться, отходя на второй план. У Гребнева хватает ума не хвастаться своими подвигами, хотя заведующие отделами исполкома, выступая трибун, обязательно рассказывают, как они громили Колчака, как освобождали города и сёла. Из зала доносятся ехидные хлопки и возгласы: «Не ты один воевал! Мы тут не на печке сидели! Говори, когда цены на хлеб перестанут поднимать спекулянты?! Почему перестали молоко привозить?»

10.

До конца рабочего дня оставалось немного времени. Иван писал очерк о печнике, который строил экономичные печи во дворцах Петербурга. За это его наградили медалью «За усердие». Изучали его кладку учёные люди, пытались понять за счёт чего выходит экономия дров. Хитроглазый дедок нарисовал Ивану схему, говоря, что каждый печник может класть такие печи...

Вошёл Гребнев. Стуча протезом, прошёл к редактору, поздоровавшись с сидевшим Иваном и Пожарской. Ирина убежала домой, к ней приехала мать из деревни. Иван посмотрел на стенные часы. Истопник начал носить дрова, а уборщица запалила большую керосиновую лампу над столом Пожарской, взялась аккуратно чистить стёкла других ламп кусками ветоши. Пожарская села за машинку, сняв брезентовый чехол. Вставила новую ленту и начала печатать.

В течении дня она несколько раз обращалась к нему, чтобы сократил большую информацию о работе сельской комсомольской организации в селе Порубежный Мар, чтобы добавил несколько строк в зарисовку о подготовке к посевной в коммуне «Красный восход». Это были обыкновенные дела, к которым Иван привык, исполнял их быстро, так как знал, что в типографии простой. Чем раньше он сделает то, что от него требуется, тем раньше застучит печатная машина. Всякий раз, Екатерина Дмитриевна очень ласково всматривалась в глаза Ивану, словно хотела увидеть в них нечто удивительное и очень нужное ей. Это настраивало Чагина на стремление работать быстро и точно. Она благодарила его за оперативность, за правильный выбор дописанных деталей.

Так пролетел куцый декабрьский день. Чагин постепенно забывал о посетителях в дохах. Но появление секретаря Гребнева заставило вспомнить о фамилиях и номерах мандатов. Разговор прекратился неожиданно быстро. Гребнев застучал протезом. Они вышли, что-то договаривая. Секретарь, запахивая старый бушлат, сказал, остановившись около стола Ивана:

— Броневики у нас забирают. Потребовался в городе. Кто-то осведомил. Лишишь грузовика. Не успели снять башню, как телеграмма...

Как добрый хозяйственник, новые пулемёты оставил себе, а сношенные — установил на место. Большую коллекцию оружия собрал председатель укома Гребнев в кассе бывшего товарищества «Волга». В больших сейфах хранились не золотые империялы, а стояли коробки с патронами и бомбами. Вдоль стен стояли в козлах винтовки, карабины, ручные пулемёты,

охотничьи ружья, изготовленные на заводах Германии, Австрии, Канады, Великобритании, Японии, Франции, Америки, Бельгии. На стенах висели пашки и кинжалы, штыки и бедуны. Это был склад, способный вооружить если уж не полк, то на три пехотных роты хватило бы этого добра. Даже во дворе у конюшни стояли скрепленные цепями три горных трёхдюймовых орудия, укрытые брезентом. Десяток других пушек старого образца, чуть ли не с турецкой компании, без снарядов, полуиспорченные местными кузнецами, пытавшимися использовать орудийный металл на хозяйственные нужды. Гребнев отвечал на вопросы губернских посланцев, просивших новый пистолетик для «особо важных дел»:

— Это будет будущий музей становления российской республики. Чтобы внуки видели, кто и чем нас снабжал.

Пистолеты передавал по акту, записывал номера оружия в амбарную книгу, просил расписаться, оставив номер мандата и фамилию. Некоторые кочевряжились, называя Гребнева чиновником от бюрократии. Более грамотные ласково называли его Плюшкиным. Кое-кто всё сводили в шутку, дескать, хотел сделать подарок важному человеку, чтобы тот повесил наган на ковре, так как любит оружие от разных стран. Тогда Гребнев предлагал продегустировать коллекцию самогона, реквизированную в деревне. Показывал артиллерийские прицелы, бинокли, телефонные аппараты, самокаты с моторами и без моторов. Не долго простоял броневик.

— Что теперь? — спросил Чагин. — Не оставят нам...

— Погонишь в Самару. Говорят, что больше некому. Командировочное удостоверение выписал тебе.

Бензином будешь заправляться по этому мандату. В помощники тебе даю Федю Буханкова и дядьку Власа. Обрато на поезде приедете. Бланки прихватишь.

— Не проедем. Снег. — изумился Иван. — Провалимся и вытаскивать некому. Давайте лучше на платформу затынем. По железке спокойно доведем.

— Тоже правильно. Завтра тулупы возьмите. Харч на дорогу. Одевайся, Ванёк. Познакомлю с Федором. Хороший парень. Да ты его должен знать.

— Дрова заготовливали с ним для приюта.

— Вот и порешите, как грузить машину.

Пожарская печатала. Она вроде и не слушала о чём говорят Гребнев и Чагин. Редкин потоптавшись, намотал на шею коричневый шарф, вышел.

На улице без дела бродила синева наступающей ночи. Она, как нищенка, шарилась между домами. Редкий снег медленно сеялся на городок, стараясь его засыпать до труб. Гребнева ждала кошева, но он решил пройтись с Иваном, высказать ему свой план по розыску владельцев броневика.

— Ваня, хочу тебя послать в деревню, где мы были. В Замётное. И чтобы ни одна душа не ведала. Не торопись отвечать, торопись слушать. Едешь ты для всех в город. Везёшь броневик. Всё. Никто тебя там не видел. Только мы двое знаем о твоём настоящем задании. Научишься паять самовары в мастерской у деда Орлова. Отправишься на заработки. Как? Нынче много ходят мастеров. Голод. Такие дела. Рогожный парусок, а лучше красных вёсел.

— Как же в редакции без меня?

— Редкин побегаёт по городу. Барышня грамотная. Ты не на год. Поживёшь неделю. Послушаешь. Вопросов не задавай. Запомни. Когда и

глухим прикинься, дескать, уши застудил и слух потерял. Умный проснётся, а болтун — никогда. Язык до петли доводит. Молчи и слушай. Ничего не записывай. Завтра с утра отправляйся на выучку. С мастером договорился. Одень, что похуже. Береги руки. Кислота. Он тебе даст инструмент и олово. Узнай цены. В Замётное не сразу заезжай. А в двух других сёлах побывай. Нарисуй вывеску на картоне и вывешивай над окном. Ты будешь не один. Пошлю пимоката тебе в помощь. Николая Ситникова знаешь? В случае чего, он поможет. О политике ни с кем не говори. Станут проверять, будут вызывать на споры.

— Откроем отделение для пожилых, как я. Плохо у нас с ликбезом. Грамотными должны быть ребяташки. Там и кормежку им организуешь. Учительницы есть. Боятся чего-то. Я не очень верю тем, кто нам очень стал быстро помогать. Кушать хотят. Верно, говоришь. Есть честь и совесть. Я бы не пошёл служить врагам. Много по хатам сидят, голодают, но не идут к нам. Верёвки делают. За это их я уважаю. Те, кто счастливо хвостиком виляют, вызывают недоверие — надо глубоко задуматься. Зачем они пришли? За пайком? Чтобы развалить то, что ещё недоразвалилось. ...Сама мне звонит, требует, чтобы я быстрее школу открывал, чтобы дети не болтались по базару. Заботливая. Нет у меня особой радости к ней. Нету. Ты не ругаешь меня за промашки. Почему?

- Выступал на партсобрании. Дрова заготовливали. Улицы очищаем от снега...

- Ты, Ваня, как зеркало. Отражаешь в газете наши поездки. Нет у тебя злости. Не вижу твоего личного отношения ко всему происходящему в уезде. Твой редактор, как лошадь. Боится, что его станут стегать,

если он сбавит ход Он всего боится. Нет бумаги — молчит. Плохая краска — сопит. Почему? Чужой он. Много таких чужаков. Когда они станут своими? Никогда — Гребнев приостановился, притопнул протезом.

— Они не чужие. Ошеломлены войной, разрухой, а теперь НЭПом. Где гарантия, что скоро закроются частные мастерские и кофейни? Нет гарантии. Опять всё отнимут.

— Ты так не говори. Так не должны коммунисты говорить. Это не наше дело. У них были заводы, банки, имения, магазины. Мы пришли. Отняли. Дети и внуки и даже правнуки нас будут за это благодарить? Вредить будут. Ждать наших ошибок. Помогать нам... делать эти самые ошибки более грубыми и страшными. Поэтому они хотят приспособиться, показать себя с лучших сторон. А тебе это не нужно. Значит, я могу на тебя крепко надеяться. Ты не подведёшь. Таких очень мало. Мало таких парней у меня в обойме.

Иван терялся в догадках — зачем секретарь вновь завёл этот разговор. Его волнует многое. Он анализирует поведение людей. Он старается их понять и узнать, что можно от них ждать — удара в спину или чего пострашней.

— Не смиряйся с нашим государством и те, кто уехал за море. Не смирится и мировой капитал. Наше государство им как кость в горле. Не признают они нас и дипломатов не присылают. НЭП должен им показать, что у нас труд свободный.

— Коммуны — это не свободный труд. — сказал Иван. — Не хотят мужики работать в общую копилку. Потому что один пашет, а другой — пляшет. Так мне сказали в одном селе.

— Это контра! — воскликнул Гребнев.

— Люди ждали землю, воевали, а им предлагаете жить и работать по-другому. Они привыкли отвечать за себя, за свои дела на пашне. Нерадивых полно, лодыри больше всех орут за коммуны. В коммуне можно в тылу отсидеться. А другие пусть жилы рвут на поле. Им выгодно так жить. Вы говорите о том, что у людей отняли заводы, отняли право на эксплуатацию. В коммуне — настоящая эксплуатация.

— В каком-то смысле так. Много у нас воруют. Со временем это прекратится. Спадёт накипь в нашем котле. Грабежи и насилие прекратятся. Грабить некого. Всем придётся жить одинаково.

— Это далекое время. А пока к нам примкнули те, кто любит воровать. Я опять говорю, что наша власть грабёжь ввела в ранг нормального явления. Грабь награбленное. Попутно власть разрешила безнаказанно убивать свой народ. Вы судите, кому жить, а кому не жить.

— Наше общество будет состоять из равноправных граждан. — сказал задумчиво Гребнев, понимая правоту молодого спутника. Разговоры с Чагиным заставляют секретаря думать о том, чего ему никто не говорил в кружках политграмоты. Эти думы становятся грустными.

—А я не хочу быть красным крестьянином-рабом. Мне нравится быть господином своей жизни, чтоб никто не командовал мной.

—Правильно. Все равноправны.

—Вы сами загоняете крестьян в коммуны и говорите о равноправии. Нет равноправия в нашем государстве. Кто-то всегда будет богатым, а кто-то

бедным. У кого власть — тот и богат. Богат и свободен. У кого нет власти, тот вновь батрак и плебей.

— Ты не то говоришь. — Опять остановился Гребнев. А мировая революция. А коммунизм? Он обязательно будет. Пролетариат победит.

— Кого? И станет правящим классом. Научится стричь ногти и читать книги. А кто станет работать на заводе при коммунизме? Кто будет пахать на нас? Кто будет чистить отхожие места? Их что не будет? Опять притеснение, опять эксплуатация человека человеком. Тут Карл Маркс бессилён.

— Ваня, ты хуже врага. Ты не веришь в светлое будущее?

— Верю. И вижу, что это светлое будущее сделали настоящим себе уже сейчас наши красные чиновники. Они живут при коммунизме. Прекрасно живут и радуются, что так легко и быстро смогли его построить. Вы разве не видите, Наум Игнатьевич?

11.

А в деревне Утренники Иван нечаянно задержался. Не потому что самоваров распаянных оказалось много, а просто так получилось. Не собирался Гребнев посылать за ним нарочного. Пришлось продолжать работу молодого нэпмана. За работу брал меру муки. Иногда приносили растительное и топлёное масло. И то и другое не отличалось свежестью. Другого не давали. Профессия лазутчика Иван угнетала. Но вольная жизнь в гуще народа понравилась. С первых своих шагов новоявленный лудильщик смог «нагнать на себя глухоту». Его жалели, как жалеют больных и юродивых, считая несколько не в себе, с максимцем. Постепенно вживался в свой образ, слушая и запоминая. Понял, сделав вывод, что в деревнях скрывается много

разного народа, который убежал от голода, от притеснения новых властей. Истинных врагов, желавших организовывать восстания и мятежи, не попало в круг его внимания. А может быть, не хотел их замечать.

Представители сельской власти оказались не такими уж паиньками, какими выглядели при Гребневе. Коммуны, созданные ими, оказывались липовыми. Только числились. Крестьянская сметка помогала председателям лавировать, исполняя предписания из уезда не из-за страха, а только для того, чтобы отвязались и не мешали жить.

Определили Чагина в сельсовете на постой в просторную пятистенную избу. Потом он понял отчего выбор пал на эту семью. Постой — штука хлопотливая, хотя и выгодная может быть. Иван не представлял из себя серьёзного представителя власти; не числился и в торговой конторе, меняющей пшеницу, скот на плуги и сеялки, не был и уполномоченным по организации артели или коммуны, а был у него не мандат, а только предписание, чтобы местные власти помогали молодому частнику оказывать услуги населению. Поэтому и поселили чужака к пришлым, которые не смогут ни роптать, ни жаловаться. Пришлые не имели в деревни родственников, не умели вести хозяйство, так как и землю не нарезали. Они и не просили, так как глава ходил на костылях, в сарае ни лошади, ни вола не стояли. Зарабатывал глава на пропитание тем, что ремонтировал часовые механизмы, замки, чинил ружья, вставлял донца в проржавленные вёдра, закупал воск и катал свечи. Иногда приходили старики и старухи прочесть письмо и составить ответ. Брониславу Богдановичу помогала зарабатывать на шкалик

самогона специальная книга «Письмовник», в которая содержала образцы писем разного назначения. Он писал жалобы и прошения, приглашения на крестины, на свадьбу. Почерк у него радовал глаз. Любовные письма он рисовал красными чернилами с обилием кучерявых завитков. Прощения составлялись простыми и строгими буквами. За это Броню — так звали его на селе — уважали и даже хотели выдвинуть писарем в волостной комитет, но он отказался, сославшись на хромоту. Ходить в сельком впрямь очень далеко. Его дочь — взрослая девица Груня, с живыми блестящими серо-зеленоватыми глазами сооружала причёски сельским барышням, шила на швейной машинке свадебные платья, вышивала бисером. Основным промыслом семьи было изготовление цветов из бумаги и ткани. Раз в месяц приезжал скупщик и забирал поделки. Иван хотел увидеть этого человека, имевшего прибыль от продажи столь странной продукции, которая не пользовалась спросом в городе, но тот не появлялся.

Чагин понял, что инвалид Меценатов никогда не ходил за плугом. Не особо спешил заработать кусок мяса. Но, уходя из дома утром, к вечеру заявлялся в подпитии, но с корзиной овощей или мешком отрубей. Село большое и не бедное. Военные действия прошли мимо. Поблизости не значилось стратегических объектов и дорог. Наскакивали колчаковцы, требовали овса, заезжали красные мобилизовывали лошадей, коров и парней. Лошадей заботливые хозяева угоняли на речные острова, поросшие камышом, а парней прятали в балках в волчьих норах. Все ждали, когда и чем закончится стрельба. Кто победит, к какой власти придётся платить подати.

Иван, если не мело на улице, ходил с девушкой по дворам, выпрашивая старые подушки, сваявшиеся дерюги. В таких походах Иван собирал медную посуду, требовавшую ремонта. В основном это были прострелянные котелки и самовары. Иван показывал на уши и просил говорить громче. Сначала внимательно изучал какая одежда сушится на заплатах, сколько ложек лежит на столе, а потом стал забывать своё истинное задание, а, записав фамилии заказчиков, получив порцию рассказов о том, кому из родичей принадлежал самовар, как его берегли, но во время налёта шальная пуля залетела и сделал его инвалидом. Чагин и Груша, попив тыквенно-мятного чая, отправлялись дальше, волоча плетёные салазки с поклажей. Это их постепенно сближало, укрепляло в дружественных отношениях.

Броши из бисера у девушки получались, а вот каша постоянно пригорала, щи напрочь выкипали. Увлекаясь работой и разговором, молодые люди забывали о печи, о чугунке с пареной свёклой или тыквой.

Груня, вроде как в щах капуста горит, — отрываясь от работы, говорил Иван, принохиваясь. По большой кухне витал запах подгорелой пищи.

— Опять я проспала. Забывчивая стала.

Смеясь, ели мясо. Пересоленные выкипевшие щи доливали водой и ставили в холодную печь, иногда сами налегали на пареную свёклу, кукурузу. Иван, видя, что Груша далеко не крестьянского замеса, не вдавался в её биографию, помня наказы Гребнева. Она не умела даже добыть из печной утробины чугунок ухватом, так как с детства её этому никто не научил. Иван показал, как нужно под ухват подставлять круглую чурочку и выкатывать тяжёлую посудину на шесток. Показал, как

печь лепёшки и даже два раза ставил дежу с опарой для кислого теста.

Однажды его и Степана нарядили помощниками в пекарню. Пекли хлеб для всего 217-го полка. Измучились. Бессонные ночи. Ожидание наскока казаков. Охрана была из десятка пожилых недолеченных красноармейцев. Тесто Иван не ставил, а следил за нагревом огромной печью, которая жрала без удержу хворост. Дрова в степи ценились. Ивану и Стёпе нужно было много часов помахать топорами, чтобы заготовить воз дров. Друзья стали проситься в полк, в цепь. Хоть куда, но подальше от пропахших опарой суровых женщин. В основном это были вдовы. Парни считали булки, следили, чтобы хлеб не воровали. Но пекарихи всё-таки таскали тесто, закладывая в пазухи. Голод — не тётка. Научит сопливого любить. У них были дети.

Красноармейки со слезами отказывались кашеварить и печь хлеб. Похоже, они и дома не занимались готовкой пищи. Говорили, что добровольно прибыли воевать с мировым капитализмом, а не возиться с горшками. Не все были такими идейными, Но найти хорошихстряпух было нелегко, так как казачки не жаловали станичных молодых, согласившихся работать в пекарне на красных. Фронт двигался, передвигались и пекарни. Забирая хлеб, сопровождающий отрезал четыре куска от четырёх первых попавшихся караваев и подавал ребятишкам пекарих, уже знавших, что добрый дядька обязательно угостит большими тёплыми ломтями хлеба. Отравления случались, но редко. В основном травили станичники самогоном, настоящим на табачных листьях. Казачки

станичные, увидев девушек в бриджах, в гимнастерках, плевали в след и поносили жуткой бранью.

Волей-неволей Иван нечаянно, хотя и поверхностно, но вник в процесс хлебопечения. Поэтому знал, как испечь лепёшку на сале, как ставить опару. Груша присматривалась к его урокам, перенимала советы бывшего красноармейца.

Бородатый хозяин уходил вечерами к соседям играть в карты. Возвращался поздно. Молодые были представлены сами себе. Иногда Бронислав Богданович открывал махотку, доставал из керосина ржавый замок, пытался с ним что-то делать, но бросал обратно. Иногда орудовал напильником, подгоняя ключ. Ивану казалось, что мужчина умеет делать всё, но не хватает ему усидчивости и желания. Построгав у печи заготовку приклада к охотничьему ружью, брался за ржавое ведро, но и его откладывал в сторону. Сделав десяток свечей, уходил.

— Груня, постояльца корми вовремя.

— Ладно, тятя, — улыбаясь, говорила девушка, принаравливаясь к местному говору. — Не задерживайтесь. Сегодня будет лангет и верещака.

Иногда она целовала его в заросшую щёку совсем не по-крестьянски. При этом смотрела на Ивана блестящими глазами, обещающими нечто такое. Ходила она в летнем сарафане, в вязаной кофте с большими пуговицами. Когда пряла шерсть или распускала старые дерюжки, надевала фартук. Дверь в горницу занавешивала занавесками. Ему отвели большую кровать, но он решил спать в углу под образами на диване.

— Что вы гнётесь на этом сундуке. Спите на кровати, сказал Иван на первое утро.

— Мне почти удобно, — улыбнулась девушка тонкими губами и опустила голову к плечу. — Вот только крышка покатая...

Весь день они молчали, привыкая друг к другу. Тайная ниточка протянулась между ними. Она очень хотела его порадовать кулинарными блюдами. Накрыла стол в комнате. Постелила голубоватую скатерть с мелкими ромашками по углам. У стола были точёные ножки, а столешница оказалась из неровных покоробленных досок. Потом Иван отобьёт их и прострогает. Он ел пересоленную пшённую кашу и смотрел на виноватое открытое лицо. Груня готова была заплакать, но тоже ела, опустив головку. Две русских косички вызвали умиление. Он вспомнил сестру. В детстве она заплетала утром косы и отправлялась в гимназию.

— Не печалься. — неожиданно сказал он. — Надо было добавить воды, покрошить немного сала. Получился бы кулеш. Можно я буду тебе помогать? Готовить еду меня научил фронт. — Его удивило ещё и то, что они никогда не ели на кухне за грубым кухонным длинным столом, перед маленькими окнами. А поразило то, что на полках резного буфета, висячего шкафчика с посудой в кухне были вышитые ажурные салфетки. С кровати свешивались кружева, на окнах были шторы с прорезными узорами и орнаментами, на скамье, на деревянном диване лежали связанные накидки, напоминавшие пледы. Нельзя было не понять, что этом доме жила когда-то искусная заботливая женщина, создавшая этот не сельский уют. Девочка его поддерживает.

Почему же она не умеет готовить? Значит, хозяйки не стало недавно. Она не успела научить её кулинарным

азам. До этого они возможно жили в далеком большом городе. Груня пытается говорить на местном диалекте, но речь её чиста и правильна. Если он расскажет об этой странной семье, Гребнев узнает откуда они прибыли, чем занимались в прошлой жизни. Были бы побогаче, уехали куда-нибудь. Не успели. Не было возможности. Вероятно хозяин воевал в армии Толстова, получил ранение. Его оставили здесь или в другом месте. Были проверки, были рейды. Переписывали население сёл и деревень. Приехали попозже с фальшивыми документами. Думал Иван, глядя, как мелькают спицы в тонких пальчиках.

В тот вечер хозяин положил в мешок приклад и металлические части ружья. Сказал, натягивая латаный кожух, остановившись у низкой двери:

— Приду поздно. Не жди ужинать. Будь поласковой. Не смотри букой. Постоялец о нас может подумать, что мы дикие.

Лампа светила лениво. Керосин попался плохой. Груня уносила посуду и, словно нечаянно, задевала его. Иван днём обнаружил в махотке с керосином ржавый наган с барабаном на пять патронов. Обломком напильника соскребал ржавчину, сидя перед печью. А девушка его подталкивала, наливая ковшом из бочки воду, потянувшись к печной вьюшке. Он поймал её за руку. Встал, бросив на шесток подпилки и грязный от соскобленной ржавчины револьвер. Руки его были выпачканы. Её глаза приблизились к его лицу. Между губ приоткрывшихся на секунду блеснули кривоватые редкие зубки. Они напомнили Ивану не то суслика, не то белку. В то же время были таинственными и призывно-зовущими, как бы написали в романе литераторы прошлого века. Иван искал глазами тряпку,

чтобы вытереть руки. За стеклом фитиль лампы начал чадить, но вдруг, засветившись испуганно и ярко, стал гаснуть, пуская чадящие чёрные струйки копоти. Иван был ослеплён темнотой. Её руки легли ему на плечи. Запах горелого керосина наполнил кухню. Из лампы вдруг вырос язычок пламени. Он принялся расти и неожиданно спрятался. В таких случаях Груша раскачивала лампу и светлый лепесток вновь начинал оживать, обливая стены дома. Но девушка не делала этого, а только прижимала себя к его груди. В его висках застучали кузнецы молоточками, а сердце стало биться в самом горле. Он слышал этот стук. Его зубы вдруг задели её, и странный электрический разряд тряхнул его и трепетная волна, наполнив дрожащим волнением живот, потекла по груди, тесня дыхание. Иван не знал, что с ним происходит, для чего и с какой стати девушка обнимает его тонкими спокойными руками. Он её никакой не родственник, и знакомы они только пять дней. Она спала на кровати, а он на диване. Между ними был стол, но можно было протянуть руку под столом и встретить её протянутую руку. Она этого никогда не делала. Иван на правах старшего не мог позволить себе такую вольность. Засыпая, иногда думал о Катеньке, которая без него выпускает газету. Он не мог понять о ком скучает — о газете или о Кате со странными козьими глазами.

Чагин не помнит — вытер он руки тогда или нет. Всё было каким-то сном или странной явью. Он дрожал, как собака на морозе. И не мог остановить противного волнения, которое сковывало внимание и отнимала силу. Он ничего не помнил на утро.

Из рассказов парней, который были грубы и мерзки, он узнавал нечто гадкое и свинское о женщинах

и даже не представлял, как и что у него может когда-нибудь произойти. Он видел жеребцов, ухаживающих за кобылами, видел устремления ржущих животных к определённому действию, но всегда почему-то отворачивался или уходил.

Он умел метко стрелять из винтовок и карабинов. Его винтовка была всегда рядом с ним. Он её не бросал, заботливо ухаживал. Случалось защищал себя от противника, стреляя быстро и метко. Винтовка его не подводила. В то время когда другие парни не имели под рукой оружия, потому как забыли, где его оставили. Научился Иван бросать бомбы. Умел устранить неисправность в пулемёте «Гочкиса», знал, как удалить перекошенный патрон в «Максиме».

Бывало, Степан приглашал его в компанию к девчонками, которые понимали, что завтра их может уж и не быть под солнцем, их могут зарыть в песчаную тугую землю братской могилы, а хотелось всё узнать и понять о взрослой жизни и даже родить, и уйти с этой страшной войны, чтобы не слышать стоны, не видеть изуродованных кровавых тел товарищей по оружию. Иван не ходил со Стёпкой. Не хотел. Испытывал нечто стыдливо-запретное. Над ним подсмеивались даже девушки, а взрослые женщины были ласковы и заботливы, обрывая смешливых девок.

Он не мог понять, чего хочет от него Груша. А когда его осенила мысль, что ему нужно стать для неё серьёзным и умелым, то вдруг заторопился в глупом волнении. Она не знала, как ему помочь, чтобы изведать нечто новое и взрослое. Это её пугало, когда она стала думать о постояльце, полагая, что других таких хороших парней в деревню может не приехать. Он ей нравился с первого дня. Не лез с вопросами, старался

помочь ей, не критиковал её стряпню. Она не знала есть ли у него жена, но боялась спрашивать, так как, узнав, уже никогда не смогла о нём так счастливо думать и мечтать.

— Я не боюсь, — вдруг прошептала она, обнимая спину и плечи. — Что вы так волнуетесь? Не бойтесь и вы. Я буду терпеть ещё долго. Я же ничего незнаю ещё. Вы тоже? Вы не торопитесь. Это не так. ...Разберитесь сами. Вы — мужчина. Должны знать. ...Вы меня боитесь ещё. Никому не скажу. Папа придёт очень поздно. У них... девушка смолкла. Терпеливо пыталась ему помочь, но ничего у них не получалось так, как они хотели. — У меня голова почему-то заболела.

Она обрадовалась и счастливо рассмеялась. У него нет жены. Он такой хороший. Она теперь будет его любить всю жизнь, так как всё в первый раз произошло у них в эту ночь, когда брёвна трещат, а на улице светят звёзды в окно и лают неподалёку чьи-то испуганные собаки.

Иван понял, как он глуп. В гимназии преподавали анатомию. Он прогулял тот урок. Его интересовала рыбалка на купеческом пруду. Вот теперь настала минут расплаты. Груша не смеётся над ним из деликатности, из вежливости. Она простит его.

Девушка вдруг приблизила к глазам пальцы и в полумраке они показались ей странными. Она откинула с себя одеяло и снова укрылась. Её молчаливый испуг передался Ивану.

— Что случилось?

— Иди в кухню. Тебе нужно... Там в корчаге есть вода...

— Что с ней будет без меня. Отца её арестуют. Она пропадёт в этой деревне. Моего сына отдадут в

приют. Я пройду мимо. Не узнаю сына или дочь. Они будут ходить по дворам, работать чёрную работу.

— Я тебя полюбил, Груша. Давай поженимся. Уедем в город. Твоего отца могут арестовать в любую минуту. Кто-нибудь по злу напишет клевету. Тогда наш ребёнок станет страдать с тобой.

— Я тебя сразу полюбила. Мне только семнадцать лет. Нас батюшка не станет венчать здесь.

— Ты думаешь, что дети родятся от венчания?

— Хотела сказать, что сейчас нельзя жениться нам. Не сердись.

— Когда можно?

— Летом. А лучше, осенью. Мне будет восемнадцать в октябре. А ты за новый порядок? Ты не мастеровой? Ты — культурный и вежливый. ...НЭП — это НЭП.

— Я зарабатываю деньги; продаю муку. Куплю тебе пальто, чтобы ты не мёрзла от мороза.

— Ты скажи честно, Иван. ...За красных?

— Что изменится? ...Я — за справедливый порядок. Чтобы людей не меняли на собак. Чтобы не было эксплуатации. Мой прапрадед получил дворянство. Отец работал начальником железной дороги. Папин брат был директором реального училища. Старший брат работал в суде.

— Ты это скрыл от красных? — с радостным испугом спросила Груша, прикрыв ладошкой рот. — Я — догадывалась, что ты не из этих хамов. Ты добрый и нежный. Как я тебя сильно люблю. Благодарю Бога за то, что он послал тебя мне. Я так сильно счастлива сейчас, что ты не можешь представить.

Снег заскрипел за окнами с визгом. Стукнули воротца. Иван расправил одеяло, намереваясь лечь на

диван. Груша попыталась его удержать, заступив наперёд, но он, прижав её тёплое тело к себе, хотел поцеловать радостные губы. Она счастливо что-то бормотала, прижав голову к его плечу.

— Нельзя много счастья сразу. — шептала девушка, отстраняясь. Нужно оставить на завтра.

Собачьими зубами щёлкнул дверной замок.

12

Ещё синева лизала стёкла окон, а хозяин старательно топил печь. Иван выбежал на улицу, чтобы подумать о будущем. Оно было в тумане. Он не знал, как жить дальше. Груша и её отец явно не благоволили советской власти. А таких много и в городе и в сёлах. Если всех загонять в тюрьмы и перевоспитывать, не хватит камер.

Зачем он согласился ехать в эту командировку. Можно было отказаться, сославшись на рану, придумать отговорку. И что из того, что он коммунист? Была война. Было другое время. Сегодня надо жить иначе. Как сказать Гребневу о девушке, которая не хочет любить новую власть. Ей не нравится НЭП. А кому он нравится? Тем, кто открывает лавочки, пытается что-то выпускать, восстанавливая кустарщину. Через два года, через пять лет не будет НЭПа. Будет настоящий социализм.

...Привезу я её в город. Что дальше? Будет она работать дома. Пойдут дети. Она не станет другой. Буду я ей врагом до самой смерти. Придётся рассказать, придётся убеждать, что нельзя жить иначе, эксплуатируя человека, как скотину. Что это будет за жизнь? ... Не поедет она с тобой. Она обманулась в тебе. Когда этот обман вскроется, то она уйдёт.

Иван набрал в горсти сухого снега, начал тереть лицо, полагая, что таким путём уничтожит события прошедшей ночи. Сейчас Груша расскажет отцу, кого они приютили. Отец не поверит. Начнёт выпытывать. Он должен знать — пойду ли я за ним. Враг я ему или попутчик. Можно врать. Эту ложь никто не раскроет. Можно быть своим среди чужих и чужим среди своих. Так это и есть.

Иван удивился своему открытию. Взглянул на гаснущие звёзды в чистом небе. Понял, что стоит между двух костров. Прошлое его тянет назад, а в будущем — скользкая дорога. Гребнев назвал его попутчиком, но он доверяет ему, как самому себе. Доверил такое важное дело. ...Или всё ещё проверяет? Ему нет смысла что-то скрывать и таиться. Прошлое он забыл. Контузия вышибла из мозгов детскую плесень той прежней жизни. Он идёт к новому. У него большая перспектива стать большим красным начальником. Почему-то не хочется ничего. Устал. Почему-то нет желания куда-то карабкаться, кем-то становиться.

Тяжело входить в гражданскую жизнь. Он привык жить по команде. Приказали идти. Пошёл. Построение на ужин. Значит, нужно привести себя в порядок и встать в строй с котелком и ложкой. Он привык жить по военным приказам. Приказы нынче никто ему не отдаёт. Нужно самому думать, решать какие-то бытовые вопросы и проблемы. Пока есть тётя, которая помогает, подсказывая, где добыть соли, где работает хорошая баня, ему легко и спокойно. Она не вечна.

Иван вдруг понял, что его жизнь пуста и никчёмна. Кончилось то великое дело, за которое они воевали. Боролись, не жалея себя и врагов. Что дальше? У него не стало цели. Образовалась пустота. ...Учится,

старается стать журналистом. Катя ему помогает освоить профессию. Она желанна и великолепна. Катя, Катя. Она его помнит по той старой допереворотной жизни. Он забыл её. Добрая и надёжная. С ней легко работается. Нужно пригласить её в кофейню. А вот теперь и Груша поселилась в его сердце. ...Может быть, уйти в армию. Война продолжается на Дальнем Востоке. Ещё не полностью очищен Крым. Банды недобитых прячутся по лесам. Он пригодится со своим опытом.

Донёсся возглас. Подошли двое. Постучали в калитку. Чагин уже набрал стопку кизяков в сарае.

— Добро ночевали. Принимай гостей, хозяин. Дело есть. — весело говорил высокий мужчина в длинной шинели, в папаче. Второй — низкий, коренастый в гимназическом бушлате молчал, сунув руки в рукава.

— Хозяин в хате. — сказал Иван, кивком головы приглашая незнакомцев.

Груша разводила тесто на блины, а Бронислав Богданович разложил на краю стола инструмент, намеревался оживлять старые часы с боем. Увидев мужчин, степенно вышагнул из-за стола, пригласил сесть на скамью, предложил раздеться.

— Доброго утречка. Прошение в губернию надо написать.

— Напишем. — уверенно сказал, потирая большие белые кисти рук, хозяин.

Иван сложил кизяки в подпечек, заглянул в кадку, в корчагу, решил принести воды. Деревянные бадейки были большими и тяжелыми.

— У нас по воду казаки не ходят, — хмуро проговорил коренастый, расчёсывая деревянным гребнем пегие волосы.

— У него уши пробиты. Не слышит. — проговорил Бронислав Богданович. — Не казачьего звания постоялец. Мастеровой, лудильщик.

Иван понял, что Груша рассказала отцу, что он не мастеровой, а близкий им по духу человек. Хозяин говорил тепло и заботливо, как о родном. Помахивая бадейками, шёл Чагин по тропинке, дышал крепким морозным воздухом, в который уже вплелись вкусные запахи варёной пищи, думал о девушке, которая по какой-то странной ситуации оказалась в этой деревне. В глубине балки, заросшей ольхой и таволожником, бил родник. Его стеклянная парящая струя затекала в желоб, под который ставили на колоду вёдра и бадьи, шелестя, падала в промоину и терялась под снегом. Груша говорила, что вода очень вкусна, легко и хорошо мыть ей голову. Иван хотел сделать ей приятное, а ещё надеялся, на то, что его увидит нечаянно связник. Они встретятся у ручья, смогут поговорить без свидетелей. Иван хотел узнать, когда придёт конец командировки, когда приедут за ним. Сведения были куцыми и не проверенными, а вот муки набралось уже два мешка. По тем временам это богатство. Тётя сможет печь настоящий хлеб без добавки отрубей и толчёного рыжика. Губерния голодала и пайки потихоньку Гребнев урезал. На рынке цены кусались.

Груша вымыла кадку. Иван вылил воду. Просяные блины плохо снимались. Девушка протёрла сковородку солью, налила масла. Иван заметил, что глаза у девушки ввалились, выглядела не так как прежде. Ему показалось, что она стала более привлекательной и

симпатичной. Её отец писал прошение, макая стальное перо в белую фарфоровую чернильницу. Когда-то расписная толстая деревянная вставка походила на маленькое веретено. Мужики сидели у стола, распахнув верхнюю одежду, а глазами мусолили возникающие буквы. Груня погасила лампу, достала из печи чугунок со щами. Иван вновь отправился к роднику.

Когда устало вернулся, Бронислав Богданович на правах хозяина разливал по фиолетовым стопкам самогон. Просители отказывались от блинов, но ели принесённое сало и творожные шаньги. Капусту из глиняной миски брали двумя пальцами. На столе деревянные ложки и сковородка с блинами. Шёл разнобойный незначительный разговор. Мужики порывались курить, но, вспомнив наказ хозяйки, мяли в карманах кисеты. Груня, касаясь губами его уха, проговорила:

— Хватит воды. Снедать иди. — он чуть не рассмеялся, услышав слово «снедать», которое произносили в этом селе. Вслед за ней Иван тоже перекрестился, взял ложку. Они сидели за круглым столом в горнице и счастливо смотрели друг на друга. Вдруг Ивану показалось, будто бы он услышал слово: «штаб». Из кухни шёл нестройный разговор. Говорил малорослый медленно и сухо:

— ...Возвращался из Бударина. Хлеб пекли пока там. Не доезжая Лбищенска остановили тачанку люди в исподнем. Свои. Сказали, что напала банда на хату, где ночевали. ...Наши штабные. Успели дать драпа. Подъехали. Тела убитых часовых. Тачанку подкатили к окну и стреляли из пулемёта и винтовок по спящим. Замок сняли.

Иван слушал, затаив дыхание. Рассказывал человек, побывавший на месте подлого нападения. Скорей всего, это был каптенармус Алексей, ведавший заготовкой продуктов для работников штаба дивизии.

— Тело комдива нашли под обрывом. Меня послали в Сахарную. ...Доложить о случившемся командиру бригады Кутякову. В станице бой загорелся у штаба. Вдвоём на тачанке мы аллюром высыпали из Лбищенска, а хоронить его остались Бунин, Воропаев и Кузнецов. Да ещё несколько венгров из личной охраны. — Говоривший закашлял, как больная овца и продолжал, делая большие паузы. — За его голову обещали двадцать пять тысяч золотыми. Тиф меня подсёк. ...Косой. Никто ничего не знает.

— Ты знаешь...

— Кому нужно моя правда?

— У меня кума мобилизовывали дважды. В плен попал, дали винтарь. Иди стрель соседа. Красные окружили. Иди стреляй опять. Опять в плен попал. Опять на бой. И красные не черемонились с нашими. Живыми закапывали в балках.

— Что хошь? Как аукнется, так и откликнется, милый.

Наступило молчание. Длилось оно долго. Думали мужчины.

— Сказывали, когда взяли ваши Гурьев среди пленных обнаружили штабных.. Ваших. Их наши не расстреляли. И тех летчиков, не тронули, что глазами болели. Не увидели, как две конных дивизии подкрались. Правда? Дядя Алёшка?

— Незнаю. Врать тонко не могу. Вилавничать нечего. Просмотрели. Летали. Утром и вечером. Воздушная разведка. Не узрили. Больные на глаза.

Говорю. Или камыши на берегах сухой речки Кушум были густые, а лошади мелки, а может, и глаза чем-то им застило. А куда деваться? Деваться некуда. Такие дела. ...Завидывали в штабах нам. Да. Не любил он этих, что переметнулись. Ваших. Чужал предателей. Перевёртышей. Крыл по матушке по Волге, прямо по телеграфу начальника штаба, командира армии Хвесина, когда насмерть нас загнали осенью в восемнадцатом. Думали ау Ваське-плотнику. Ан нет. Хренка с бугорка. Всех провёл и вывел на волю. Вместо помощи послали нам роту с палками. Учебную. У нас и у самих стрелять нечем, пулемёты и орудия подбиты. Думали о смертушке. Вывернул всех наизнанку и штабных и ваших беляков. Ушли мы. Так вот. Судить хотели эти служки-иудины дети. За то, что материл продажных. Трибуналом. ...Да отправили в Москву на учёбу. Смущали зарплатой, хотели оставить при училище. Не схотел. Не на того напали. Рапорты писал, чтобы вернули на фронт. За Гришу зуб имел на казару. ...Мешал он им. Шибко мешал.

— А дальше как? Похоронили? — назойливо спрашивал шепелявистый высокий мужчина в шинели. Забулькал самогон.

— Земля пухом. Всем. Без разликия. Сколько народу полегло, а за что? За какое такое счастье? Одни за царский трон держались, а мы, как бараны, за землю, за волю, за лучшую долю, ложились повзводно и поротно. Где оно? Нету. Язви её в дышло. ...О чем говорить?

Груша с удивлением смотрела на Ивана, переставшего есть блины с тыквенным и яблочным взваром. Чагин отвержено слушал, держа надкушенный блин в руке. Он даже порывался войти в кухню и

спросить, где могила? Вспомнил наказы Гребнева. Понял, что выдаёт себя в каком-то смысле. Принялся есть.

— Разговорчивы наши гости, — сказала нехотя Груня, глядя Ивана счастливыми, заботливыми глазами. — Работать будешь сегодня? Егорцев придёт за самоваром...

— Вино язык развязывает... — Согласился Чагин.

После затянувшейся паузы разговор продолжился. Каптенармус стал икать. Бронислав Богданович предложил выпить воды. Икота не прошла.

— Испугать тебя надо, — усмехнулся шепелявый. — Досказывай, да айда курнём. Ухи опухли вконец.

— Летом в Самаре на ярманке встретил Бунина. Он сопровождал тогда комдива в последний путь. Хотели пробиться. Он и рассказал, что перевезли его за речку на воротицах. Уже расстреливали из пулемётов на яру раненых, секли шашками. Плановали соединиться с левобережной группой, но казачьи патрули прочёсывали береговые заросли, охотясь за теми, кому удалось переплыть Урал. ...Бунин сказал, что разбрелись по берегу, закопали друг дружку в песок, чтобы вечером встретиться и доставить его в город, чтобы похоронить с почестями. ...В Уральске дикая паника. Так елозили по кабинетам. ...Бунин, Воропаев и Кузнецов с венграми поддержки у властей не получили. Им сказали, чтобы хоронили тайно. Чтобы белоказаки не нашли тело и не надругались. На кладбище за храмом Спасителя, от часовни на сто двадцать сажень выкопали могилу. Нашли кусок жести и написали краской, дескать, тут похоронен, «5-го сентября, коммунист Чепаев». Врал Бунин или не врал этого

сказать не могу. Был не из брехливых. Порвали они тогда красноармейские книжки и утекли в свои сёла.

Мужчины засобирались. Начали прощаться. Иван хотел записать точную фамилию однополчанина, но остановился. Для газеты материал будет совершенно необходимым, так как никто из чепаевцев не знал, где похоронен любимый командир. Рассказ развеял бы тошнотные слухи. Публиковать его нужно в Самарской газете. ...А если Алексеев живёт не в этой деревне, а приехал в гости к родственнику? Какая разница? Это уже не слухи...

— Задумался о чём-то? — спросила озабоченно Груша, собирая посуду. — Понравилась побасенка, как хоронили Чепаева... Кто он такой?

— Вы жили в другом месте? Поэтому не знаете.

13.

Короткие деньки поскакали в присядку. Иван несколько раз пытался шепотом говорить с Груней, когда они ложились спать, насчёт женитьбы, но она, тихо смеясь, дразнила его, выпрастывая из-под окутки ногу, говоря что ей жарко, или показывала голую спину.

— Мала ещё. И поп не станет венчать. Отец против выбора. — У тебя нет специальности, а жизнь мастерового скудна и без будущего. НЭП кончится через год. Что тогда? — В дымчатом полумраке тело девушки светилось голубоватым налётом. Иван отворачивался, но долго не мог уснуть. Злился на себя, на Гребнева, который бросил его тут в неизвестности. Подумывал, что сможет нанять подводу и убраться из села своим ходом. Связной не появлялся. Всё шло как-то вкривь и вкось в командированной жизни. Ему нужно уехать, но желания не было. Задание выполнил серединка-на-половинку. Иван собирался открыться

девушке. Иногда был на краю своего объяснения, но вовремя останавливал себя, думая, что нужно немного подождать, чтобы осенью приехать, открыться, а Груня сама решит, как ей поступить.

Хозяин не уходил вечерами, предлагал поиграть в шахматы. Иван отказывался. Но в шашки с Груней играл. Сидели за длинным столом в кухне. Бронислав отёсывал кружки-донца в вёдра, давая им вторую жизнь. Кряхтя лез на печь, задёргивал занавеску. Груня толкала Ивана ногой, сняв опорок. Он волновался, делал неверные ходы и проигрывал. Эта невинная игра продолжалась долго. Груня, выиграв, вскрикивала, щёлкала его по лбу. Он ловил её милые тёплые пальчики и подносил к губам. Девушка замирала, шейка её вытягивалась.

— Проводи меня на баз. Собаки лают. — Тихо проговорила, расставляя фигуры. Иван выходил в сени, ждал в темноте, вслушиваясь в шорохи. Груня выбегала, хватал её, прижимая к себе, пахнущее распаренной гречкой и какими-то цветами, упругое тело. Её тонкие руки обвивали его шею, а губы стыдливо подрагивали.

Из книг они знали, что молодые люди целуют друг друга, но как это должно происходить, не представляли, так как никто не успел им показать или рассказать о процессе любовных ласк. У них были интуиция, память предков. Таким-то путём двое постигали таинство науки взаимных отношений, идя к её совершенству через ласковые ошибки и сумятицу чувств, которые прихлынув, закрутили их в водоворотах новизны первородного греха. Они были безумно и безумно счастливы в этом открытии друг друга. Теперь спокойно ласкаются, изучая несходство тел.

Безвозвратно прошёл трепетный и дурманящий восторг, ушла лавина инстинктивного волнения, остались сладкая истома откровения и доверия, которые возникают в то счастливое мгновение, которое никогда не повторится у них. Звёзды так выразили своё положение, так они сошлись, чтобы эти двое смогли подарить друг другу себя. Из глубины веков потянулись нити жизни, преодолевая пожары войн, наводнения и оледенения, и встретились, так было угодно звёздам совершить чудеса. Что дальше будет с ними, каким зигзагом исполнится звёздный путь — никто на Земле не знает. Они не хотят знать ничего о своём будущем. ...Сегодня. Сейчас. Этот миг пронесут в своей памяти, чтобы жить и помнить.

Она непроизвольно вздрагивала от его прикосновений и счастливо улыбалась. Она их ждала, она думала о них и представляла эти руки — трепетные и ласковые. Она им доверилась, чтобы изведать неизведанное. Потому, что пришло её время. Нет сил противиться ему, отогнать от себя. Он всё понял, память предков подсказала норму поведения и умения в достижении новизны чувств.

Вот теперь он понимает друзей, которые приглашали на вечеринки к девушкам-красноармейкам. Они, эти юные милые создания, не умеющие рожать, не кормившие своим молоком крошек, научившиеся в своей короткой жизни убивать, знали, что следующий день может быть последним. Природа диктовала им свои условия. Она требовала, чтобы оставили после себя продолжение жизни. А они слушали её? Хотели добиться счастливой жизни. Не для своих детей, а для чужих. Так им говорили комиссары и командиры. И они верили. Верили свято, как верят только Богу.

Пули и осколки рвали прекрасные молодые тела. Ивану было жалко видеть раны и увечья, которые потом гнили, издавая зловонный дух. Милые и очаровательные девочки-ткачихи превращались в уродливых старух, пьющих и страдающих от военной жизни. Не собирались её менять на другую — лёгкую. Безногие, безрукие лезли и прыгали в тачанки к пулемётам. Отчаянному бесстрашию завидовали мужчины. У них не было другой жизни. Они её не знали. Жили в большом военном коллективе. Всё было общее. И радость и смерть.

«Ну, зачем берут девчонок на войну? — спрашивал Иван. — Нельзя их пускать в бой. Пусть дома играют куклами». Никто его не понимал. Друзья смеялись, говоря, что без девок будет плохо; запаршивят и оскотинятся; при них стыдно отступать, убежать. Это было такое время нового государство, это был гневный порыв. ...Придут другие девушки и парни, возьмут оружие, чтобы защитить, то, что завоевали эти, не евшие до сыта хлеба. Наша дорогая история не может быть простой и чёткой, как падающий метеорит.

— Загадал? — спросила Груша расслабленно и счастливо.

— Не видел.

— Не обижайся. Нельзя нам жениться сегодня. Поеду за тобой на край света. Только зачем? Хороший ты, но не комиссар. Тебя могут арестовать. Всех дворян расстреливают. Какая мне радость будет.

— Я — воевал. Никто меня не расстреляет. У меня есть орден.

— Ты — красный? По убеждению? — удивилась Груша, отстраняясь. — Мы с тобой разные. Ты искренне веришь в то, что эти необразованные хари

смогут дать народу равенство и братство? Они бескультурны. Они будут думать о своём благополучии, а потом о народе. Ничего у них хорошего не получится. Поверь мне.

— Сколько тебе лет?

— Я ошиблась. Прости. Ты оказался одним из них. Ты бы видел, как они грабят, как насилуют и убивают. Это же звери.

— Сначала издевались над ними. Потом они сломали клетку и выбрались на волю.

— Они изверги. Твои товарищи. За что они мучили простых людей, которые умываются по утрам? Ответь мне? Разве за это нужно издеваться. Я всё видела. Маму на моих глазах истязали. Им не понравились её кучерявые волосы и глаза. Тебе нравятся мои глаза? Меня тоже хотели замучить, но командир приехал и взял меня с собой, потому что он тоже был еврей. Не найдя денег, стали пытаться отца. Не все евреи богаты. Тогда папу обозвали беляком и капиталистом. Они наехали ему на живот колесом автомашины и стали давить, пока живот не лопнул и не выскочили кишки? Такие люди построят социализм? Никогда. Они воруют друг у друга сухари.

— Успокойся. Не плачь. Я — другой. Я никого не пытал...

Груша вытирала слёзы. Она дрожала от пережитого ужаса. Её колотил озноб. Иван не знал, что ему делать, как успокоить девушку.

— Почему другой? Ты убеждённый коммунист. Ты за них. Тебе прикажут, станешь убивать всех, на кого покажут. Ты расстреляешь и меня. Тебе скажут, что я враг, что я вредитель новому строю. Если ты не выполнишь приказ, расстреляют тебя.

— Зачем ты судишь о нас по какой-то банде черносотенцев? Мы никого не расстреливали зря. Мы воевали за справедливость, чтобы все могли получить образование, чтобы все имели одинаковые права и возможности, чтобы не было сословий. Ты знаешь не все дети могли учиться. Не у всех была нормальная еда. С ранних лет дети должны были работать.

— Знаю! — жестко сказала Груша. — Знаю. Сама работала в папиной мастерской, а не бегала по улице. Мне папа давал посильную работу. Мама показывала, как вышивать, как шить. Кто хотел, тот стал великим и известным. Кто пил в шинке водку, кто не думал о семье, кто обворовывал, кто грабил, тот и нынче бегаёт с наганом по деревне, стучит себя в грудь. ...Надеюсь, ты знаешь, кто такой Ломоносов?

— Окончил гимназию. Реальное училище. Хотел поступать в институт. О Ломоносове слышал и читал.

Груша задумалась. Она не дрожала, только изредка вздыхала...

— Я сама зарабатывала себе на учёбу. Занималась на фортепьяно. Вы хотите, чтобы все дели учились в гимназиях. А я — не хочу. Что вы со мной сделаете? На верёвках поведёте? Станете ко мне домой учителей присылать? Это сколько понадобится преподавателей? На каждого лодыря по дядьке с красной палкой? Культура, Ваня, это не прививка от оспы. Пока русский человек поголовно станет культурным, перестанет пить и воровать, века пройдут. Не уверена, что это случится когда-нибудь.

Иван радостно молчал. Какая она умница. Она права. Она выражает его мысли. С Катей так не поговоришь. Она сразу переключается на другие темы. Чагин онемел от восторга.

— Груша, дорогая моя. Я с тобой согласен во многом, но я уверен, что люди изменятся. Ты высказала мои мысли.

— Мы — разные. Нам нужно расстаться.

— Сначала ты хотела, чтобы я стал комиссаром. Теперь говоришь, что мы с тобой разные. Если хочешь, я буду им. Ты полюбила меня, как мастерового, а теперь жалеешь, что я не могу дать тебе сладкое будущее.

— Я — ошиблась. Мне хотелось узнать, кто ты на самом деле. Ты добрый и великодушный. На мастерового не походишь. Кто ты тогда? Дядя не понимает, кто ты, Ваня?

— Это очень важно для тебя?

— Важно. Ты сможешь защитить меня от произвола?

— Не всё нравится в этой жизни, которую мы строим. Защитить тебя смогу. Я — не совсем лудильщик. Я — журналист. Работаю в газете уездной. Скоро придётся стать комиссаром по народному образованию...

— Я — испугалась. Теперь не боюсь. Чувствовала, что ты не тот, за кого себя выдаешь. А я всё тебе наврала. Вру, когда не хочу. Характер такой. Прости. Ну, не еврейка я. Что хочешь, то и делай опять со мной. Видела всё это дикое зверство. ...Простил? Сама приеду к тебе, когда мне исполнится восемнадцать лет. Ты жди, Ваня, дорогой мой мальчик. Письма писать буду редко. Почта моя ходит пешком. Только с оказией. Ты за что меня полюбил? ...Я — первая спросила.

Они долго разговаривали, пытались представить своё будущее. Иван видел его в ярких красках, а Груше оно представлялось туманным и страшным. Он успокаивал её, пояснял, что вот скоро наступит такое

время, когда заработают заводы и фабрики, в магазинах будет много продуктов без талонов и карточек и цена будет доступна каждому.

— Возможно так будет, но в далёком будущем. Не верю я, что эти хамы, ограбившие страну, смогут построить прекрасное и счастливое. Не верю. Мы стали нищими. Прячемся, как мыши по чужим норкам. Не обольщайся, Ванечка, не будет этого прекрасного будущего. Никогда. Тебе лучше жениться на девочке, которая поверит твоим сказкам, которая слаще морковки и репы не грызла. Ты сам научишь её писать и читать, расскажешь, как воевал с врагами народа, устанавливая народную власть. Только вот трудно посчитать сколько погибло этого народа. Грабежи и убийства продолжаются. Только слепой не видит, что расстреляны и сбежали за границу лучшие из лучших...

— Груша, ты говоришь, как настоящий враг...

— Я и есть твой любимый враг. Не смогу я покориться и принять твою распрекрасную власть. Честно говорю. Хочу полюбить её, как тебя, но не могу. Ты и сам её не любишь, не понимаешь. Она любит только себя, а народ не любит. За что расстреляны тысячи монахов и попов? Они не белые.

— Религия — это шельмование народа, чтобы он бездумно вкалывал на хозяев. В монастырях скрывались колчаковцы.

— Сегодня на кого вкалывает народ?

— На себя. Заводы и фабрики не принадлежат одному лицу. Прибыли пойдут в общую копилку, чтобы потом распределиться на нужды общества.

— Пойдём спать. Пусть занимаются политикой другие. Нам и так хорошо. Правда?

14.

Два Ивана поселились в Чагине. Один — не хотел уезжать от Груши, второй — скучал по Кате. Хотел её увидеть, услышать мягкий воркующий голос. Мечтал о Кате, Катюше, которая была старше его, училась в Москве и даже издала книгу рассказов и стихотворений. Сам Бунин прочил ей когда-то ей большое литературное будущее. Что Бунин! В Москве познакомилась с Маяковским и Соловьёвым, встречалась с Есениным и Бурлюком. Но ни одно модное течение не увлекло её в свои водовороты. Катя вернулась в родной городок.

Катя помогает новой власти встать на ноги, развивает её культуру, так как она человек удивительный, отдающий себя без разговоров и раздумий важной работе. А Груша ищет выгоду, старается найти тёплый уголок, где бы ей легко и сладко жилось. Она сомневается, как и он, так как и ему не всё ей нравится в сегодняшнем дне.

Иван ревнует Катю к лысому редактору, плосконосому печатнику Никифору. Ко всем, кто приходит к ней с жалобами. Но она никому не отдаёт предпочтения. Она холодна и спокойна. Только работа у неё стоит на первом месте. Только забота о жителях города волнует её. Она звонит Гребневу, требуя навести порядок, устранить недостатки в работе учреждений. Газету из-за этого Катенькиного вмешательства в жизнь уезда уважают и приезжают ходоки со своими проблемами, и надеждой, что произвол и хамство будут устранены.

Пришла как-то Пожарская на работу с подкрашенными губами, подрисованными бровями ресницами. Белая кофточка с кружевным воротничком и манжетами отлично гармонировала с длинной чёрной

юбкой, подчёркивая крутые бёдра и несоразмерно полную грудь, которая выглядела горбом на худом теле женщины. В тот день Иван делал всё невпопад. Ошибался в написании простых слов. Листал словари, забывая, какое слово ищет. Чернила расплзались кляксами, перо спотыкалось. Он курил в конце коридора у ящика с песком вонючий самосад, смотрел в окно на сугробы. Тогда он ещё не знал Грушу Вербицкую, тогда он ещё был юн и наивен, как берёзовый веник.

Чагин проснулся в странной тишине. Не мог понять, отчего на голых досках деревянной кровати нет Грушиной постели. Не увидел Иван и салфеток в буфете. Странное оцепенение обрушилось на постояльца. Преодолев столбняк, выскочил в кухню. На шестке и в печи не оказалось чугунков и сковородки. Не было инструмента Бронислава Богдановича. Лишь запах керосина и олифы витал по кухне. Сундучок с паяльником и киянками стоял в голбце, а вот второго мешка муки не оказалось на месте в кладовой. Иван заметался по пустым комнатам, не замечая на столе лоскута серой бумаги. Убедившись, что и от десяти фунтов солёного сала остался жалкий кусок на дне полотняного продолговатого мешка, понял, что Груша и её дядя исчезли навсегда. Они просто обокрали его, как последние жулики, забрав всё, что им понравилось. Не жалел ни о крупе, ни о соли, которые копил для другой жизни, жизни в городском голоде.

«Разве бы запретил взять муку и сало? Обязательно поделился. Она говорила о воровстве и пьянстве народа, а сама оказалась частью этого подлого и коварного сволочного населения. Можно было разбудить и

попрощаться, как это делают культурные люди. Чего испугались?»

Иван выгреб золу из печи, нашёл золотую блёстку и попытался развести огонь в пустой печи. Пробежавшись по пустой комнате, которая вдруг стала чужой и неопрятной из-за отсутствия штор. Из-за отсутствия Грушеньки! Сунув за голенище валенка «Браунинг», вырвал из самодельного блокнота листок, побежал к печи. На длинном голом столе сиротливо лежало письмо:

«Дорогой, Ваня, прости. Так получилось. Дяде сообщили, что нашлась работа в Ярославле. Мы вынуждены опять «искать» работу, чтобы прокормиться. Прощай! Аграфена».

Он перечитал написанное ещё раз. Понял, что они убегают от какой-то опасности. Скорей всего, испугались его. Поэтому решили уехать. Бронислав Богданович извинился: «Иван, ты прекрасный человек. Мы полюбили тебя, но полюбить твои идеи ещё не можем. Постарайся нас забыть. Б.Б.».

Легко сказать. А как сделать, если всё прекрасное теперь в этом мире связано с именем Груня. Это невозможно сделать. Разве что через сто лет. И через двести лет он не забудет её. Нет такой силы, чтобы вычеркнуть из его жизни эти дни и ночи в деревне Утренники. Тревога за судьбу девушки нахлынула на него и он не стал топить печь, не стал искать чугунок или сковородку. Выпил воды из корчаги и решил найти того, кто увозил Грушеньку, узнать в какой край направилась его любушка-голубушка.

Прошло три дня. Следы девушки потерялись. Работа успокаивала, притупилась обида. Вечером в дверь застучали. В клубах жидкого пара пришла

измождённая женщина с обмороженной чёрной щекой и с мальчиком. Лет пяти. Из валеночных дыр торчали соломенные усы.

— Мы станем с вами жить, — Кашляя, проговорила она, блестя голодными глазами.

— Живите, — эхом отозвался Иван, добывая из печи горшок с просяной кашей.

Утром приходили за самоварами, приносили продукты. Иван отдавал их женщине. Она неумело затопила печь, пыталась сварить галушки, пожарить сало в принесённой от соседей щербатой сковороде. Чагин весь день провёл в каком-то непонятном состоянии. Его будто снова контузило. Сознание мутилось и тонуло в глубоком тоннеле, из которого нет выхода. Он мёрз у воротец, смотрел на сверкающий, как рафинад, снег, курил и думал обо всём сразу и не о чём конкретно.

Женщина с мальчиком рано забрались на печь, а Иван пытался записать впечатления. Керосин быстро кончился, а керосинового бидончика не мог найти. Он думал о Кате, как о человеке прекрасном и понимающем. Груша не хотела переделывать себя, не хотела понять для чего строится новая жизнь, для чего погибли его товарищи, победившие тех, кто хотел вернуть царские порядки, которые привычны им и понятны. А кто воевал за новое, были отчаянней и смелей. Они приближали это своё новое, намереваясь разрушить мир насилия. Это была очень значимая идея, хотя и не совсем понятная, но в неё верили беззаветно. Поэтому и победили. Невозможно переубедить русского человека, если он чего-то страстно захочет.

Ночью пришла обмороженная тётка. Она плакала и целовала руки, благодаря за доброе отношение.

— Нет у меня ничего, чем бы я смогла вам отплатить за то, что вы спасли нас от голода. Мы ходили в куски. Паспорт я свой выбросила, когда бежала из Уфы. Лежала в госпитале, работала на телеграфе в штабе 1-й армии. ...Мне сказали, что вы офицер.

— Да. — вздохнул Иван, откидывая одеяло. — Командир роты. Только из 4-й армии, 25-й дивизии. Иван Чагин.

Женщину неведомая сила скинула с дивана. Она стояла у голого стола, незная, что ей делать. Иван хотел рассмеяться, но не мог.

— Почему не пошли со всеми?

— Поняла, что союзники не хотят нашей победы. Они вредили, помогая вам. Не открыто. Стало ясно, что победа будет за ними, за интервентами; за чехами, за американцами, французами, за англичанами. Александр Васильевич тоже понимал, что война со своим народом проиграна. Не хотел воевать.

— С кем же мы тогда воевали? — удивился Иван. — Что стоите. Ложитесь. Пол холодный.

— Можно было победить. Не хотели слушать Верховного. Каждый генералишко мнил себя Наполеоном, хотел первым въехать в Москву. Неразбериха и разобщённость. Огромные потери. Мальчика я подобрала. Он тоже был ранен. Но он не знал, где его фронт. Он воевал за свою маленькую жизнь. ...Вы пошутили?

— Пошутил. Потрогайте мою голову. Раз я без рог, значит, не красный. У красных рога. У всех. Голову мыть очень неудобно. Поэтому и пошили им шлемы, чтобы не так видно были...

— Это глупости. — усмехнулась женщина, обнимая его. — Не бойтесь. Я имела покровителей в штабе. Блюла себя. При мне всегда бритва. Чиста перед вами и перед родиной. ...Ушла воевать гимназисткой. Я не могу ошибиться. Вы воспитанный человек, умный и вежливый.

Чагин удивился, пытаясь понять женщину, которая считает, если красный, то людоед. Спросил иронично и зло:

— Если коммунист, значит, грубый, невежественный, ест людей без соли? Кто же вам такое сказал?

— Общепризнанное мнение, — потерянно сказала женщина.

— Клянусь вам, я не съел ни одного ребёнка, умею читать, говорю на французски, понимаю английский и польский. Сдавали латынь, математику. Мог на рояле Лунную сонату до конца сыграть. Давно не музицировал. Готовился в институт. Знаете, Стелла, за мной грех. Утром умываюсь. Зубы перестал чистить после съедения детишек. ...А что вы так? Не обижайтесь. Наслушались глупостей. Сколько вам лет? Вы младше меня. ...Прощаю. О нас и не такое распускали. Вы-то почему поверили гадостям? Образованная девушка и даже симпатичная, хотя и помороженная в путешествиях. Давайте спать. Диспут продолжим с утра. Только не убегайте ночью. Не стану кушать вашего мальчика. Подошью валенки. У меня есть материал и некоторое умение. Научили эти дядьки с красными рогами.

— Простите. ...Пожалуйста. Честное слово. Не подумала. Я — пойду. — сказала виновато женщина.

— По вашим понятиями я должен на вас накинуться, за косы тащить в сарай. Такая плата не подходит. Война кончилась. Не считайте меня своим врагом. Хорошо? Вы спасаете ребёнка. Я помогу вам. Мы же люди. Попробуйте забыть войну... И у меня не получается...

Утром Чагин растопил печь, навошил дратву. Сделал шило из гвоздя и взялся за валенки. Когда печь разогрелась, начал замешивать на молоке тесто. На сковородке зашептались подрумяненные кусочки сала, Иван положил сверху раскатанный пласт теста и придавил большой деревянной ложкой.

— Так моя бабушка делала, — сказала радостно Стелла. — Все мои умерли от тифа. Давайте я стану печь. А вы подшивайте...

— В горшке варится мясо. Почистите картофель, порежете, капусту, свёклу. Будет у нас борщ. ...Это меня тётя учила. Яйца сварите мальчику в этой жестянке. Проснулся наш человек будущего. Вспомнит ли он это утро. Мы с ним на горку пойдём, санки были в сарае.

— Нет. Я — сама. Вы уедете, а он привыкнет к вам. А расставаться будет нам тяжело. Мне сказали, что вы нэпман из бывших, намекнули, будто... Понимаю, что не останетесь.

Иван задумался. Его рука держала шило и подрагивала. Неожиданно сказал:

— Вы грамотная. Запишу вашу фамилию. Предложу открыть тут школу. Будете ликвидировать безграмотность населения — учить больших и маленьких людей. ...Сможете? Отбросьте в сторону всё, что когда-то было. Забудьте. Служите своей родине. ...Никто вас не расстреляет. Вы не сестра генерала

Пепеляева. Ваши грехи малы. А его помиловали, а он командовал 1-й армией. Вы его знали?

Уезжая, отсыпал женщине в ящик из-под сала полмешка муки, разделил и крупы. Мальчик счастливыми глазами оглядывал Чагина, не по детски вздыхал. Секретарь волостного правления прочитав мандат, театрально поднял плечи.

— Надо школу восстанавливать. Была церковная. Сожгли. Идут ко мне читать письма. Целыми днями с писарем пишем ответы. Пусть будет и у нас школа. Директивы пришлите и план работы. Бумагу найдём, на паёк будем продукты собирать. Лишь бы приказ был с печатью. Я ж не против ученья детей. Библиотеку начнём собирать и комсомольцев припряжём в помощь ей. Просили они театру с постановками организовать. Никто ничего не понимает в этом. Раз человек знающий, пусть и театром ведает. Это очень хорошо...

Женщина молча кивала, теребя пуговицу старой душегрейки. Секретарь искоса смотрел в окно на кошеву, недоумённо мотал головой, всё ещё не понимая, кто сидит перед ним — лудильщик самоваров и котелков или представитель уездного комитета партии.

15.

Чагин повесил в шкаф полушубок-борчатку, причесал перед большим зеркалом ржавый чубчик. Из-за двери редактора доносились беспокойные голоса. Два дня назад Иван возвратился из командировки, доложив Гребневу о том, что смог узнать о тех силах, которые недовольны новым порядком. Секретарь сопел, что-то записывал в тетрадку, смотрел в лицо Ивану с прищуром рысьих глаз и всё спрашивал, спрашивал насчёт тех, кого нужно арестовать, как врагов народа.

Чагин не выдержал допроса, сказал, что в таком случае арестовать можно всех, начиная с секретарей волкомов и, кончая, придурковатыми побирушками.

— Ты не узнал, чей броневик?

— Нет. Явных врагов советской власти нет. Но много недовольных НЭПом из тех, кто воевал на фронтах. Они открыто выражают враждебность. Любой агитатор их легко может склонить на свою сторону. Нужно людям объяснять, что это не уход с позиции социализма, а вынужденная мера, чтобы победить разруху и голод. ...Об этом я не говорил, так как не было полномочий.

— Это что-то. Будем ловить красноречивых ,белоруких, которым не нравится наш фарватер. Ожидал большего, но что ж, на безрыбье и колбаса рыба. ...Скажи-ка, Ваня, почему съехали твои хозяева? Ты их чем-то испугал?

— Сказали, что нашли работу в Ярославле.

— И ты поверил? Им что депеша пришла? ...Не знаешь. Найдём мы их. Зимой никто не срывается в дорогу. Хозяин не ругал власть? ...Вот что и подозрительно. Надо было прищучить. С такими приметами не скроются. Ты не обижен на них за кражу. Ты работал, а они попользовались.

Иван удивлялся, слушая Гребнева. Выходит, за ним следили, оберегая. Или не доверяет Наум? Или что-то ещё. Боятся за меня, как бы дров не наломал. Секретарь изменился: говорить стал медленно, взвешивая каждое слово. Его матросский бушлат и тельник исчезли. Серый пиджак и клетчатая рубашка уже обмялись, но выглядели непривычно и несерьёзно. Тот Гребнев был Ивану ближе и понятней. Этот, изменившийся за три недели, вызывал не то, чтобы отчуждение, но что-то

было в облике секретаря настороженное, чужое. Даже кабинет стал другим после ремонта. Побеленные стены с оранжевым колером были голы. Исчезли картины, плакаты, призывавшие к посевной. Эта голость и строгость несколько пугали Ивана, наводя на грустные размышления. Секретарь похвалил Чагина за открытие школы, пообещав в скором времени отправить его по сёлам уезда с проверкой школ, библиотек и пунктов ликвидации неграмотности.

— Готовься к новой должности. Будешь отвечать за ликвидацию неграмотности в уезде. Засиделся ты в газете. Она тебе мешает развернуться в полную силу. Люблю серка за обычай: кряхтит да везёт. Не на кого мне это дело возложить... Будешь моим заместителем по культуре и образованию. Через пару недель... Кабинет тебе готовлю на втором этаже. Комсомольцы при тебе. РКСМ — дело нужное. Литературу подобрал. В Самару командирую. На учёбу. Не нам праздничать, а нам будничать... Согласен? — Гребнев встал, вышел из-за стола. — Тут ваша картина висела. Заметил, что ты её всегда рассматриваешь. Забирай. Память отцова не должна пропасть. За шкапом. Бери. Не стесняйся. Хочешь, у себя в кабинете повесь. Другие картины отвезли в ваш дом, где теперь приют.

Гребнев вызвал дежурного, чтобы тот помог Ивану отнести картину на квартиру тётки. Чагин отказался. Картина была не велика. Он решил, что сам справится. Когда входил в ворота, понял, что напрасно не послушал Гребнева. Одному нести было неподручно. Иван взопрел, неся картину то на плечах, то на голове. Лёгкий ветерок со снегом вырывал полотно из рук, не давал идти, почти сдувая с дороги. Не близкий путь оказался очень трудным. Иван упорно продвигался

вперёд, представляя, как будет рада тётка, увидев пейзаж, висевший у них в гостиной. «Собственник ты, не захотел оставить картину и на несколько дней. Ничего бы с ней не стряслось. Стояла бы за шкафом, никому не мешала. Поволок ты своё сокровище по метели, из последних сил. Таким ты не был. Цепляешься за своё старое. Жалкуешь о нём».

Иван смотрел на Пожарскую, а память услужливо вырисовывала лицо Груши, её чёрные дуги бровей, прямой носик, большие с лукавинкой глаза, редкие крохотные веснушки. Казалось, что ощущает тёплый золотой крестик на длинной цепочке, опускающийся в трещину между белых гутаперчевых репок. Он даже перестал дышать, удивившись сходству двух лиц. Хотя сходства, даже близкого, не было. Это ему казалось, потому что так хотел, старательно дорисовывая в собственном воображении эти два лица, сливая их в одно..

Пожарская печатала на машинке быстро. Она лишь изредка всматривалась в круглые клавиши. Почти, не глядя, толкала нужную кнопку, выбивая стрекотание аппарата. Сколько бы он ни вслушивался, а уловить какой-то ритм не мог. Его не было. Ивану хотелось, чтобы звучала мелодия пишущей машинки, мелодия, которую извлекают милые пальчики. Поэтому нравилось смотреть за ними, порхающими над чёрными кнопками. В глубине сознания казалось, что он видел их над чёрно-белыми клавишами рояля, но тогда звучала чистая волнующая мелодия, а сегодня опять раздаётся треск, редкий стук падающих дробинок в жестную банку.

Ему постоянно чудилось, что эти пальчики с маленькими почти детскими ноготками замёрзли, их

нужно непременно согревать дыханием. «Где же я её видел? — терзал отуманенную память Чагин. — Мы знакомы. Мы встречались. Может быть, Катя была подругой сестры? Возможно, она сестра кого-то из приятелей? В той, прошлой жизни они встречались».

Вот Екатерина подула на руки, сняла очки, начала протирать вспотевшие стёкла. Большие беспомощные светло-карие глаза необычного разреза, опущённые длинными ресницами, вновь магнитом притягивали к себе Чагина. Пожарская протёрла стёкла, спрятала в карман гимнастёрки платочек, закрепила за крохотными приплюснутыми ушами дужки очков, и словно отгородилась от Ивана, от редактора, от всего мира. Улыбнувшись, с какой-то нежной интонацией спросила:

— Велико ли диво? Ваня, что вы углядели? Баба на машинке печатает. Уволилась машинистка за время вашего отсутствия. Не вынимайте фотокамеру. Берегите магний и пластинки — казённый материал. Нам нужно делать газету, а не тратить его бездумно. Как там Самарские девушки поживают? Небось, в кинематограф ходили?

— Никуда не ходил.

— Как же так? Боронеивк сопровождали по поручению...

— Пришлось повозиться...

— Можете не рассказывать, коли тайна покрыта мраком, — с некоторым кокетством говорила Пожарская, не переставая печатать. Открылась, радостно пискнув, высокая дверь редактора. Стоя на пороге, Редкин сказал:

— Сегодня газету подпишите рано. Вторую полосу после правки прочитал. Вам, Иван Филиппович, нужно будет только подписать. Без вас носили Гребневу.

Раньше доверяли мне. Пришёл циркуляр из Самары, чтоб полосы и развороты подписывали только члены ВКП(б). А так как я вне партии, а Екатерину Дмитриевну зачислили в число сочувствующих, то подписывать будете вы. Не забыли?

Накануне Иван познакомился со странным циркуляром. В связи с этим, он теперь числился ответственным редактором, Пожарская — выпускающим, а Редкин — главным редактором. Ивану предстояло понять материалы, выверив все интонации, разобравшись в намёках — нет ли скрытых призывов к свержению власти, не падает ли тень на местные органы, не искажается ли курс партийных работников. Было запрещено местным газетам критиковать собственную уездную власть. Это разрешалось только губернским и окружным газетам. ...Достаточно запятую поставить не там, смысл изменится, враги будут трактовать опечатку в свою пользу, смакуя безграмотность работников печатного органа. Чагину предстояло прочесть все начальные буквы заголовков, убедиться, что в них нет ни шарад, ни ребусов. Как пример, приводились шифровки, для которых использовали враги первые и последние буквы предложений.

— Шрифт опять рассыпали. Забыл молодой печатник заключить форму. Рано не получится... — сказала скорбно Екатерина.

— Когда успели? — удивился редактор, морща нос. — Только вот правку относил. Плохой я редактор. Саботируют...

— Хороший. Простая случайность.

— Нужно Ивана ставить. Он арестует вредителя. Вызовет конвой. Устал я от этих хлопот. Даже керосину настоящего не смог достать. Смесь какая-то.

— Рано мне. — сказал Чагин. — Керосин везде такой. Подсыплем немного соли, чтобы не взрывался.

— Ничего не рано. В самый раз. Свою партиячку откроем. Вы мне дадите рекомендацию в партию?

Иван взглянул в Катенькины глаза и задохнулся от счастливого сияния. Пожарская смотрела так доверчиво и обнадёживающе, что Чагин тотчас сказал:

— Конечно. Почему думаете, что не дам? Дам.

— Напишу рапорт Гребневу. Пусть переводит в репортёры. Иван и дров наготовил на всю зиму нам и в редакцию привёз. Говорю, что нужно штат увеличивать, а он отмахивается. Наборщик нужен. Возвания набираем, а газета стоит. Молодые должны руководить новой печатью.

— Вы самый лучший редактор. Вы — добрый и вы понимающий.

— За неделю не набрали четырёх полос, хотя материалу Монблан и маленькая тележка. Эти наши дежурства — нонсенс, голубушка. Не родился я диктатором. Не дано...

— Иван Филиппович, поддержите меня. — Екатерина облизала тонким кошачьим язычком крохотные губки, повернула голову к Чагину, шагнув к нему.

— Вечеринки можно сократить. Наборщику тяжело. Пальцы примерзают к литерам. Краску нужно постоянно греть. Здание старое, вот и промерзает. Цех перегорим. Он большой. Требуется много дров. ...Привезу ещё.

— Видите, Екатерина, правильно думает Иван Филиппович. Мне в голову не приходило, что можно втащить машину в комнату поменьше. Ивана будем ставить к рулю. Ивана. Завтра пойду к секретарю. — Редкин говорил озабоченно, с некоторой неуверенностью. После обеда занимались разборкой шрифта. В пять часов, редактор сославшись на неотложные дела, начал мыть руки в керосине, чтобы смыть чёрную краску. Утиноносый печатник Никифор, старательно намотав на шею длинный коричневый шарф, потопал за помощью. Вскоре пришли закутанные в просторные клетчатые шали две пожилых женщины, когда-то работавшие в типографии. Они быстро разобрали по кассам пробельный материал, шрифты и, взяв верстатки, принялись по оттискам полос набирать тексты заметок. По привычке ставили твёрдый знак и «ять», но правили потом набор быстро и без ошибок. Иван удивлялся, следя за узловатыми пальцами, похожими на обрубки ивовых сучьев, и не понимал, как полуслепые работницы преклонного возраста безошибочно берут нужные литеры и ставят на место.

Редкин озабоченно ушёл в десятом часу, когда началась вёрстка полос. Чагин и Пожарская, чтобы не терять времени, вычитывали оттиски материалов, перейдя в кабинет редактора, где жутко воняло самосадом. Газета выходила четырёхполосной, но уменьшенного формата. Поэтому отпала у Гребнева проблема с добычей бумаги большой площади. Газету стали получать в деревнях два раза в неделю.

Пожарская громко читала. Иван следил по тексту оригинала. Иногда постукивал американскими высокими ботинками. Большая керосиновая лампа не только светила, но и грела. Екатерина подняла голову.

Иван в ту секунду ласково оглаживал её лицо заботливыми глазами.

— Пропустим ошибку, получим нахлобучку от нашего редактора. Что вы там нашли интересного?

— Вы красивая. — тихо проговорил Иван, удивляясь своей бестактности. Очень красивая. Как египтянка.

— Это показалось. Ночью все кошки серые, а египтянки — жёлтые. Я — смуглая. Прабабушка была цыганского рода. Ты пошутил? Можно посмеяться? Долго думали, как подшутить над беззащитной дамой?

— Не говорите так. Вы самая красивая...

— Самая тощая, — её большие раскосые глаза пускали изумительные искры, от которых Ивану стало волнительно и сладко. «Продолжай. Говори. Хочу слышать твой голос, — умоляли горящие глаза Екатерины Дмитриевны. — Разве вам трудно сказать, что я египтянка?»

— Вы мне давно понравились. Ваш голос, ваши руки сводят меня с ума. Не могу дождаться утра, чтобы лететь на работу, чтобы увидеть ваши удивительные губы. Мне снится разрез ваших сказочных глаз. Никогда не видел подобных глаз. Они очаровывают меня. ...Разве что на иконах. Иногда я прохаживаюсь по вашей улице, в надежде встретить вас и поздороваться. Я — счастлив, когда вижу ваш силуэт в зашторенном окне.

— Вы опять подсматриваете? Пора бы подрасти... Мне приятно слышать ваши слова. Иногда мне говорили комплименты насчёт глаз, но... Почему вы так не пишете? Должна вам сказать, что с того времени много утекло воды. У меня был муж, была семья. Ты такой молодой и симпатичный; ещё встретишь свою

египтянку. Я — старше на три года. Это целая вечность. Пропать...

— Мне кажется, что я живу сто лет. За годы войны довелось увидеть столько всего, что и не рассказать.

— Согласна. Возраст измеряется не годами, а пережитыми событиями. Вы правы. — Пожарская что-то правила в тексте карандашом. Они скучно молчали.

— Отнесу правку. Посмотрю, как верстают, — сказал Иван, глядя обогреватель печи. Он не видел, как Екатерина прикрыла бумагу концом шали, на которой расплывались два тёмных пятна.

В печатном зале стояли остовы больших машин. Часть полов была вырвана. В ямке чадил костерок. Печатник и красноармеец, охранявший типографию и редакцию, ели картофель, макая в грязную соль. Медный котелок парил.

— Ваня, дёрни.— предложил Никифор, подавая деревянный стаканчик с остатками росписи. — Колотун сегодня. Рождество Христово пришло. Начнём первый поворот печатать. Краску греем.

Иван взял стаканчик, понюхал. Понял, что стакан — это нижняя часть деревянной куклы-матрёшки. «Сколько же в неё входит игрушек? — машинально подум

— Будем живы, — произнёс Чагин, ощущая свёкольный холодный самогон.

— Картохи бери. Горячи. Угости хлопотуху нашу.

Цех показался Ивану светлей, а люди ближе и надёжней. Молодой красноармеец с подоткнутыми под ремень лапами шнели порывался что-то спросить у Чагина, рассматривавшего его карабин.

— Скольких послал в «земотдел»? — решил он.

— Об этом не спрашивают, — пробурчал Григорий Шалдов, новый специалист по набору и печати, а попросту его звали — «старшой». — Война — работа подневольная. Не схошь, так убьёшь. Не чужого, так своего.

— Ну, — притворно вытарщил глаза Никифор. — Як же так? Свово?

— А так. По ошибке. Сколько хочешь. У нас было-было таких случаев. То отзыв забудут, то заблужают. Наливай.

Иван принёс дров. Не остывшая печь загудела. Запахло разогреваемой известью, которой в прошлую пятницу побелили дверцу. Привычный запах наполнял большую приёмную, в котором не дежурили, так как к концу дня не таял снег на пороге, а посетители шли один за другим. Пристроив котелок с водой у горящих дров, Иван закрыл дверцу голландки, закурил, сидя у редакторской двери. Он думал, как предложить Екатерине поужинать с ним. К дежурству готовился, боялся, что она откажется от предложенного чая. Найдёт повод, чтобы сослаться на работу. ...Не должна обидеться.

— Много осталось? — буднично спросила Пожарская, когда вошёл в редакторский кабинет.

— Первый разворот заключили. Принесут оттиск на подпись. Вот Никифор прислал. Ещё тёплые.

— Тёплые, — радостно повторила Екатерина, положив руку на большую картофелину. Он вдруг ткнулся губами в детские пальчики с крошечными тонкими ноготками и чуть не разревелся от рихлынувшего чувства нежности. Ему показалось, что Груша сидит перед ним и смущённо улыбается.

— Это дворянские замашки, а вы коммунист. Вам не преличествует подобный этикет, — с грустной иронией говорила женщина, а руку не убирала. Он хотел сказать, что если коммунист, так должен волочь в подворотню, но сдержался, полагая, что эти слова могут быть лишними и даже грубыми.

— С Рождеством, Екатерина Дмитриевна, — громко сказал Чагин. Пожарская испуганно оглянулась на дверь и зябко повела плечиками, кутаясь в шаль.

— И папироски у вас Чагин буржуйские. И руки вы целуете. Уж не враг ли вы нашему новому? Что мы так дружно налаживаем? Небось, плачете по ночам в подушку по прежней жизни, когда с приятелями катались на Хариной горе, приставали к девушкам из женской гимназии. Рождество. Какой праздник был. Как его праздновали? Помнишь, Ваня, блеск свечей на ёлке? Звучит музыка. Это ты играешь. Тебя попросили. А две девочки танцуют. Помнишь? У тебя был конь из папье-маше на колёсиках? И коня своего забыл?

— Конь, конюх. — пролепетал Иван. — Девочки. Ёлка. Ничего не помню. Помню, что у меня есть сало и настоящий хлеб. Мы могли бы отметить праздник. Я приглашаю... Котелок должен вскипеть с морковным чаем.

— Что ж вы так долго молчали? Что такое сало по сравнению с какими-то полосами, печатными машинами и новой экономической политикой? Значит, вы были в деревне? А не в Самаре?

— Не помешало бы шампанское...

— Губу раскатал дежурный редактор. Пора забыть. Хотя. У меня где-то плесневеет коньяк. Компрессы

делала. А можно коммунисту пить буржуйский напиток? Или ему предпочтительнее денатурат, самогон? А ещё в Рождество? Устав, Ваня, позволит? А Программа? Чтобы сказали Карл и Маркс по этому поводу? Хотя они не были чужды маленьких радостей. Не отказывали себе в хорошем пиве. В обстановке высокого подъёма и накала строительства самого лучшего общества, когда республика в голоде, в глубокой разрухе, а коммунист Чагин праздновать собрался с беспартийной Рождество. Мне было бы стыдно... Но я не коммунистка. Мне поэтому ни капельки не стыдно. Я хочу праздновать Рождество с тобой. Не обижайся. Просто иронизирую над собой... Не помню я тебя. И никогда не видела. — Екатерина рассмеялась, дёргая плечами. — Зачем мне это?

— Завтра скажу Гребневу, что пришлось делать компрессы, так как холод в типографии собачий. — В коридоре послышался шум — Никифор нёс полосы после правки. Пожарская медленно отстранялась от него. Он сделал шаг назад, садясь в кресло. Газета, живущая одним днём, завтра будет прочитана и пойдёт на раскурку, но будут перечитывать заметки о зверствах, чтобы содрагаясь, радоваться — чур меня. Они сделали свою работу. Донесли до читателей эту самую злобу дня, рассказав, как строится в России новое общество, как восстанавливается разрушенное хозяйство. Строители умели воевать, а потому новое строилось медленно. Равноправие представлялось однобоко. Человек не хотел уважать не только ближнего своего, но и себя. Не хотел строить это новое, так как оно зло пахло поражением на фронтах, кощунственным Брестским миром, отторгнутыми исконно российскими землями, но самое главное люди

верили злым наветам, что руководителей, захвативших власть в России, привезли в секретном вагоне немцы, чтобы революция растерзала страну и выбила её из рядов Антанты. А ещё нащёптывали друг другу, что Германские агенты ввозят на свои деньги оборудование для печати газет. Через пару лет комиссары заберут из царской казны золото, а, отняв у заводчиков все капиталлы, уедут с золотом за границу. Верили в это крестьяне. Не хотели строить новое общество, потому как привыкли к старому порядку, когда всё было понятно и ясно. Привык народ к тому, чтобы его обманывали, утесняли и обсчитывали, потому что он сам обманывал и обсчитывал.

Не любит русский перемен. Но уж если чего захочет, то вынь ему и положь. Поверит в любую дикую сказку, что при коммунизме всё будет бесплатно, сколько хочешь, столько и клади в свою торбу. Верит русский человек с детства в то, что скатерть-самобранка даром накормит и напоит, а шапка-невидимка поможет безгрешно и безнаказанно воровать, убегая от ответственности в сапогах-скороходах. Не верит Иван в эти рассказы, считая пропагандой врагов. Анализирует, стараясь понять — зачем нужно было подписывать унижительный мирный договор, выводя из войны страну, но отдавая свою территорию. Не понимает действия партийных руководителей. Получается, что сработано на руку врагам, но сколько можно воевать, сколько народу ушло на убой без особой цели и нужды?

Вычитаны и подписаны полосы. Стучит машина. Крутит рукоять привода красноармеец. Пар от него валит. От чая Пожарская не отказалась, но пила с неохотой, не притрагиваясь ни к салу, ни к хлебу.

— Печь, проверьте, Ванюша, поспешим на праздник. Пахнет тут самосадом, как в общественной курительной комнате. Appetit тупеет. Я — пойду, открою дверь, чтоб не так было темно. Лампу погасите, двери закроете на замки.

В коридоре узком и тёмном налетел Чагин на Катеньку, предполагая, что она у входной двери. Теряя равновесие, непроизвольно обнял её. Почувствовал, как шею обвили крепкие руки, а губы просто припекло жарким поцелуем. Так или немного иначе написали бы авторы рыцарских романов.

— Бешеный, — шептала Пожарская, задыхаясь. Силища у тебя. Ты сломаешь меня, бешеный. Что ты всё ищешь? ...Как у всех. — Катя отталкивала Чагина, не справляясь с дыханием. — Что ты делаешь со мной. Я веди и умереть так могу. Ну, хватит. Подожди. Ты растрепал меня, как веник. Пойдём...

Идти не очень далеко. В особняке купца Дранкина сделали гостиницу, незаметно заселились приезжие учителя сельскохозяйственной школы, которую Гребнев посчитал лишней и закрыл. Пожарская преподавала ботанику, но с организацией редакции газеты, её перевел, так как она публиковала в губернской газете в прошлой жизни небольшие рассказы о природе. Этого было достаточно, чтобы из неё сделать журналистку.

Чагин переложил пистолет в карман, снял с предохранителя. Война дала уроки строгие и неповторимые. Нечищенная винтовка, лежащая где-то на завалинке, в критическую минуту не могла спасти хозяина. Боец, не научившийся быстро и метко стрелять, не мог помочь ни себе, ни другу. Улица пуста. Редкий собачий брех вплетался в скрип снега. Иван пристроил узелок с едой за пазуху. Катя сняла очки,

упрятала в муфту, уверено взяла его под руку. Он никогда ещё так не ходил, постоянно сбивался с размеренного шага. Запах Катенькиной муфты, ощущение тёплой руки, заставляли волноваться. Это волнение заставляло думать об ужине, который впереди. Иван часто представлял себе, как когда-нибудь они будут вот так идти по улице, слушая скрип снега под ногами.

Старая луна смотрела на идущих и грустила. Два человека обнимали друг друга, зачем-то касались губами губ. Может быть, они не могли без этого жить. Возможно, у них была какая-то цель. А может быть, лаская друг друга, вспоминали прошлое время, прежних друзей, представляя их рядом, думая, что это ихние глаза сияют рядом, выплёскивая волны нестерпимого счастья, без которых мир для них стал бы пустым и пресным.

— Кто тебя так целоваться учил? – с ласковой издёвкой спросила Катя. – Совсем никто. Так не бывает. Ты грызёшь меня, как тигр. Мои губы превратились в жалкие лохмотья.

— Так бы и съел всю...

— Ты пожиратель женщин?

— Только одной, тихо проговорил Иван, вспомнив Грушу, её голос, ласковые прикосновения рук.

— Ванечка, вам поцелуйную грамоту преподавали в кружке политграмоты? ...Не обижайся. Вас вульгарные девки учили быть грубым, причинять боль, а женщину ласкать нужно, а не обгрызать, как кусок сахара.

...Луна закачалась, а звёзды посыпались с близкого неба на заснеженные крыши, улицы и переулки уездного городка. Чагин не мог понять жив он или, его

нет на земле. В висках отчаянно молотили серебряные молоточки, а сердце трепетало, как воробей в клетке. Он понял, что душа существует. Когда ему становилось страшно, душа металась, пытаясь спасти его, а сейчас она дрожит, играет от сладкой радости, переливается всеми мыслимыми цветами. Когда ихние зубы нечаянно соприкоснулись, Ивана секанула молния, наполнила дикой силой. Он подхватил Пожарскую на руки и понёс, как охапку полевых цветов, задыхаясь от волнения. Катя обвила его крепкую шею тонкими руками и затихла, полузакрыв козы глаза.

— Опять очки, — прошлетала женщина, отрешённо улыбаясь.

16

Жестяная лампа на высокой ножке светила тускло – труснутый стеклянный пузырь был очень закопчён. Пожарская быстро сняла пальто, сшитое из чёрного шинельного сукна, повесила в шкаф. Иван повесил полушубок на гвоздь у двери.

— Мой руки. Переоденусь. Оставь браунинг – пока он нам не нужен. Сто лет настоящего сала не видела. Ветчиной раньше называли. Хорошие прослойки...

Скрипела крышка сундука, стучал тупой нож. Иван резал хлеб. Шуршала материя. Волны духов растеклись по комнатке, в которой было относительно тепло. Чагину вдруг захотелось закурить. Папиросы кончились. Было их пять штук. Он шагнул к стеллажу на точёных ножках, именуемого в народе, этажеркой.

— Ванечка, вы за старое? Подглядывать?

— Клочок бумаги смотрю, сигарку скрутить...— Узнал ровный почерк. На тетрадном листе, торчавшего из-за книг, написано: «Протокол собрания уездной организации «Россия». Присутствовало...» Катя

медленно забрала лист, прижалась к его выпуклой груди. Поцеловала так, что забыл, зачем подошел к этажерке. Поцелуи были быстрыми и суетливыми.

— Это я с девочкой занимаюсь. Диктанты пишем. Внучка истопницы. Егоза, но пишет грамотно. Пора праздник праздновать. Потом накуришься, если время будет свободное... Ши должны где-то завалиться, — бустро собирала на стол Пожарская, стараясь убедить Ивана о встречах с неизвестной девочкой, но он не мог не отличить её почерк от каракуль ребёнка. Её лож оказалась настолько неосторожной и бестолковой, что Иван сначала насторожился, а через пару минут забыл об этом событии, так как на голубоватой скатерти возникли две рюмки, тарелки.

— Тебе стопку побольше ставлю. ...Как ветчины хочется. Люблю покушать. Привыкла радоваться жмыху с кипятком. Скажи тост, коммунист Чагин. За... мировую... Как это у вас? У нас, — иронично поправила Катя, — пролетарскую... революцию. Ты меня так плющил, что очки сломались. Придётся ремонтировать. Это, конечно, не самовар, но надеюсь, припаяете, господин лудильщик? Хоть меня не сломал, — наигранно засмеялась Пожарская, беря рюмку с желтоватой жидкостью.

— Будь счастлива, Катюша. Чтобы все твои мечты сбывалисью Пью за тебя, за самую прекрасную женщину на земном шаре.

Иван выпил. Это был коньяк. Настоящий. Не суррогат. Ему вдруг стало стыдно. Ведь раньше на первом месте у него была девушка Груша. Юная барышня, игравшая роль крестьянки. Теперь он счастливыми глазами оглаживает взрослую женщину. Он предал? Забыл милое существо в сарафане. Он ездил

с ней по дворам, пытался прокатить с горки на санках. Но она меня бросила. Вдобавок, обокрала, как самая паршивая воровка. Ты испугал её, и этого дядю, который бежал от своей судьбы, от властей. Зачем он рассказал о ней Гребневу? Найдут их. Что тогда?

— О чём скорбь? По ком поминки? Спасибо, милый. Ты не далёк от истины. Я – самая прекрасная на всём этом белом свете. Тебе скоро представится возможность это проверить.

Иван хлебал недосолёные, но очень кислые щи, не обращая на эти мелочи, никакого внимания. Коньяк крепок и ароматен. Он пил с другом что-то подобное, под Киевом. После третьей стопки Катя стала говорить быстро. Слова насакивали друг на друга, как льдинки в горном ручейке. Смуглые щёки окатила краска румянца. Между полными губками взблёскивали ровные, но редковатые зубки. Иван любовался синим платьем, из которого отчаянно дико и фривольно вырастала полуприкрытая чужая, не Катенькина, великоватая для её тела, грудь. Коньяк пьянил. Тонкая шейка с тремя родинками ниже левого уха, составлявшими равносторонний треугольник, выглядела беззащитно и болезненно. Он видел эти родинки. Где их видел?

Контузия разрешила жизнь на две части. Помнил ярко и отчётливо бои. Запахи госпиталей впечатались в сознание. Помнил медсестёр. Не забыл командиров, а вот, что с ним было в детстве, в юности – всё это стёрлось. Он стал другим человеком, человеком без прошлого. Гребнев не удивлялся. Он встречался с такими случаями. Поэтому справки навел о его родителях довольно быстро и точно.

Женщина сказала, что она сестра отца. Он поверил. Ему сказали, что его отец был попечителем реального училища, поверил, а его брат был товарищем прокурора. Поверил. Ему говорили, что отец работал на железной дороге, был начальником, носил мундир инженера путейца. Верил. Подходили парни, говорили, что они братья Степана, который сагитировал его отправиться на войну с белыми. Он соглашался.

— Посолить? – снисходительно и лукаво улыбалась Катя, когда он целовал тонкие пальцы с белыми пятнышками на ногтях. – Много раз я была у вас в доме на лице Липовой. Дружила с Лизой. Сестру помнишь? Что ты делаешь, несносный мальчик? Как ребёнок. Подожди. Я – стесняюсь. Хоть лампу уверни. Не нужно. – Катя убирала его руки, смущённо поправляла платье. – Налей себе. Мне хватит. Ты подсматривал за нами, когда купались. Что ты хотел увидеть? Скажи, несносный мальчишка? Я, может быть, покажу. ...Сегодня. Неужели, ничего не запомнил? Ты правильно делал, что не узнавал меня. Благодарю тебя. Ладно, притворяшка. Ничего не помнит. Купалку вспомнил? По глазам вижу. Как меня звали? – Катя рассмеялась. – Катя - звали. Какая теперь разница? Нелли, Лида, Оля? ...А если Ольгой? Нравится. ...Как всеравно. Ты правильно сделал, что вступил в партию. Нам нужно выжить. И мы выживем. Наши дети возвратят свои дворцы и фабрики. Нас трудно смести с лица земли. ...За нашу власть.

— За какую «нашу»?

— Глупенький. Власть всегда наша. Раб останется рабом, как ты его ни раскрашивай, в какие бы тоги ни наряжал. Один принцип у раба – поменьше работать, побольше урвать, украсть, отнять. А теперь покурим. У

меня старые буржуйские папироски есть. Ты не скажешь Гребневу? А Редкину не скажем.

Катя поставила на стол стеклянную пепельницу, открыла начатую коробку папирос Дора. Чагин заинтересовался тремя окурками. Мундштуки смяты по-разному. Пожарская ловко прикурила, сунув папиросу в ламповое стекло. Глубоко затянулась...

— Рдекин вчера заходил. План праздничного номера обсуждали. Выпьем за успех нашего дела. Не стоит коммунисту хмелеть. Ешь. Меня примут в партию?

— Обязательно дам рекомендацию. И жизнь, если понадобится, отдам, — сказал Иван, покачивая лампу, которая стала дымить. Катя взяла ломтик сала, задавила папиросу. Иван потянулся за рюмкой. Лампа погасла. Запахло керосином. Зашуршала материя. Катя сбросила платье и валенки, юркнула в постель. Иван сидел у стола, незная, что ему делать. «Тётка заждалась. Пора домой». Уходить не было желания.

— Где мы застряли, Ванечка? – как-то буднично проговорила Катя. – Гулять так гулять. Рождество нынче. Устала я каждого стука бояться. Ты собрался в белье ложиться? Карл Маркс не учил разве? Фридрих что-то писал о семье. Всему вас научил, а такую малость, просто мелочь, – забыл. Полагался на вашу сообразительность. ...Смелее. Я и замёрзнуть так могу.

Они прижались друг к другу. Иван боялся пошевелиться, сделать что-то невпопад. Он должен понять, что его не отправляют домой, а значит, ему рады, он принят, как желанный гость.

— Да, вы солидный коммунистический мужчина. Вот так рождественский подарок. – Она нежно гладила

его, коротко целовала, — Овидия читал? Придётся просвещать младенца.

— Заглядывал недавно.

— Не шепчи. Говори нормально. Нам только скрипеть непозволительно. Завтра хозяйка вопросами замордует, будто в чека. Не люблю, когда молчат. Ты разве не думал об этом? Придётся на пол переместиться. Меняем диспозицию. ... Ближе к сундуку. — В полумраке фигурка Кати двигалась быстро и уверенно, будто она стелила свою тощенькую перинку каждую ночь. Иван решительно захватил в кольцо своих рук тело, но Пожарская ловко высвободилась, бросила вторую подушку, медленно опустилась на колени, перевернулась на спину, раскинув руки и ноги.

— Думать не могла, что когда-нибудь станет возможна эта ночь. Ты приятный кавалер. А я, как женщина, чего-нибудь стою? Как не с кем сравнивать? Так и не с кем? Разве коммунарки не предлагали себя бойцам? Тебе не хватило радости в красной косыночке? Какая жалость... Не волнуйся. Нам спешить некуда. Каков барин к нам приехал на постой. Никто не войдёт. Треовги сегодня не будет. Я сама хочу. Совратила тебя.

— Ты — моя мечта. — шептал Иван, глядя гладких, холодных уродливых уродцев. «Не снится ли мне это? — спрашивал себя Чагин. — Такая тихая, грустная, всегда в газетных хлопотах, зятая в солдатскую гимнастёрку, а сейчас другая, — ироничная, веселая, заботливая».

— Держите меня, Ванечка. Крепче, ещё крепче. Сейчас будет ещё лучше. Передохни. — Он гладил голову, уши. Под ладонями ощущались лопатки, позвонки.

— Какая ты худенькая. Тебя нужно кормить ветчиной круглые сутки.

— Как я согласна на это предложение. Корми, корми, Ванюшка, доргой мой.

— Ангел мой. Как ты это умеешь? Волшебнo...

— Распутный твой ангел, — откинувшись на подушку, выдохнув, проговорила Катя. — Сейчас я должна родиться. У меня ночь рождения. Полночь. У хозяйки часы пробили двенадцать. Как ваше самочувствие? ...Продолжим образование. Хорошее самочувствие. Странно. Полагала, что наш кружок марксизма-эротизме надо закрывать. Оказывается, вы любите учиться? Вот вам задачка. Как посутпите? Правильно поступаете. Как наша нога? Я — улетаю. Дагоняй, Ванюша. Скажи, я — слаще красных девчаток? Не обижайся. Не было, так не было. Нам с тобой повезло.. Ты способен полетать? Ты уникален. Мой стойкиу красный солдатик. ...Ты не ошибся, говоря о моей неповторимости. Ты помнить будешь меня всю жизнь.

— Разве это последняя ночь твоего рождения? И моего возмужания?

— Нас уволят. Сошлют меня в Сибирь. Во всех смертных грехаха обвинит меня Гребнев. Я — старше. Виновата будет твоя египтянка. Так ты меня назвал? Что-то меня тревожит.

— Предлагаю руку и сердце. Будь моей женой.

— Если хочешь взять в жёны старую шлюху, я не очень возражаю.

— Не говори так. Я люблю тебя с детства.

— Тебе со всякой бабёнкой будет весело. Всех ты будешь приглашать замуж? Я — твой классовый враг. ...Конечно, шучу. Как это у тебя получается? Тебя кто-

то обучал «политграмоте». Меня трудно провести. Я могла роту увести с фронта. Плету чего-то. Нельзя пить. Куда я могла роту вести? В театр. Перекури. ...Тогда выпьем за нашу редкую индивидуальность. Тебе не вредно, сынок? Излишества могут отрицательно повлиять на организм. Человек переест груздочков, а потом на них не смотрит. Обкушался. Твои молодые партийные силы надо поберечь.

Луна не могла выпутаться из веток тополя. Светила с любопытством в окно, пытаясь рассмотреть что происходит в комнатке. Но ничего не могла понять.

— Прощу твоей руки. Стою на коленях. Катя, одно слово. Одно. ...Что думать? Уедем в Самару. Хорошо заживём. Меня приглашали в губчека.

— Это мне нравится предложение. Губчека. — задумчиво проговорила Пожарская, отбрасывая ветхое одеяльце ногами. — Лучше на мои колени. Это у тебя преотлично получается. Большевики никогда не стоят на коленях. На своих. ...Потом постоим вместе. Самое главное. Почувствуй. Вот так ещё чуть-чуть. Как это тебе? Быстрее? Медленнее?

— Как делаешь такое? А сильнее можешь? Быстрее... Это невысказано. Так здорово.

— Попался. Врунишка несчастный. Так все женщины делают. Все так умеют. Ты не можешь сравнить. У тебя, как ты говоришь, не было раньше опыта никакого. Шутка. Такое никто не может повторить. Только ты и мой муж знаете об этом, так как почувствовали это. ...Он расстрелян. Он без восторга встретил мой талант. Отнёсся, как к тарелке с гречневой кашей. Он был озабочен глобальными проблемами. Он был математик. Не интересовался ничем, кроме теоремы Ферма. Он даже чай забывал пить. ...Что он им сделал?

Когда пришли к нам с обыском, сказал, как Архимед, мол, не трогайте мои бумаги. Молодые, пьяные от самогона и власти, выбросили его на улицу, били прикладами. Давай помянем его гордую душу. ...Я не плачу. ...В детстве мне попала книга о египетских фараонах. У девочек специальными упражнениями выработывали эти и другие умения. Не могу точно сказать о том, чего я достигла, тренируя себя даже на лекциях. Я думала об этом. Поняла, что смогу чего-нибудь достичь. Твоя сестра осмеяла меня. Когда вышла замуж, попробовала разнообразить управление мускулатурой. Думаю, во мне живёт душа одной из египетских жриц любви. Кажется, что всё со мной это было. Даже сегодняшняя ночь была кем-то спланирована свыше. Мне захотелось сделать тебя счастливым. ...У меня тяжелое предчувствие. Нужно спешить, чтобы успеть...

Иван пытался сдержаться, но не смог. Из глаз потекли слёзы. Катя вытирала их. Целовала мокрые глаза, хотя ей это было не очень удобно...

— Что-то вспомнил? – Катя пыталась дотянуться до его губ. – Ты вспомнил своих командиров, которые никогда не прочувствуют подобное? Ты самый неповторимый. Последний мой мужчина.

— Это от счастья. Сказка, моя. – Говорил он, устраиваясь так, чтобы Кате было удобно его целовать. – Устала моя египтянка?

— Могу часами это делать тебе. Дорогой мой, коммунизм, ты тоже уникален. Как там у вас? От каждого по возможности, но каждой – по желанию.

Вновь его тело сотрясли счастливые рыдания. Иван был настолько поражён открытием самого себя, что перестал сдерживаться, вдавливая лицом подушку.

— Я рада, что мой талант наконец-то оценён. Столько лет работала над собой, чтобы вот сегодня, единственный раз, смогла раскрыть его до конца. Было бы несправедливо, если бы он умер со мной.

— Проси, что хочешь. Волшебница моя. Не мог представить, что такое возможно. — Иван вдруг вспомнил барышню-крестьянку. Свою близость не забыл, но то, что делала с ним Катя, это выше всяких сравнений.

— Мы не можем быть вместе. Я не вольна в своих поступках. Ночь рождения бывает раз в жизни. Тебе пора, мой несносный мальчишка, потерявший память. За всё приходится платить. Если много смеёшься, то столько придётся плакать. Придёт время, поймёшь, что я единственная и не повторяемая, умеющая быть ласковой, умеющая дарить счастье, не требуя ничего взамен. Ты узнал свою египтянку. Она должна быть у каждого, но всем везёт. Прощай, фараон. Пусть всё будет по-старому. Прими печали жизни стойко. Храни тебя Бог, милый мой. — В бревенчатой стене что-то хрустнуло. Луна выпуталась из топлиных сучьев. — Обними на прощание. Мне трудно с тобой расстаться. Но надо. Не могу рисковать тобой.

17

Утром они встретились. Пожарская была печальна и озабоченна. Глаза у неё глубоко запахи, черты лица заострились. Тени пролегли под глазами, указывая на бессонную ночь. Она печатала, разговаривала с мужиками, прибывшими из деревни искать правду. В приёмной пахло овчиной и дёгтем. Иван не мог писать. Память услужливо воспроизводила детали прошедшей ночи.

Прошёл месяц. Иван решил написать рассказ. Сюжет искал долго. Читал книги, пытаясь взять их в помощники. Эдгар По увлекал его давно. Он решил отправить героев в средние века. В замок рыцаря Локитрара приезжает брат матери. Закручивается любовный роман. Иван пишет на работе и дома. Екатерина старается дежурить с редактором. Чагину выпадет дежурство с Редкиным. Пожарская относится к нему ровно, как раньше. На вопросы о новой встрече говорит ласково, приводит множество причин, которые не дают им повторить встречу на Рождество. Он понял. Катя его сторонится, так как боится. Тетрадный листок и три окурка встали между ними.

Несколько раз Иван переписывал свой рассказ. Творчество крало много времени. Чагину казалось, что Катя будет им гордиться. Поможет отредактировать первый «блин». Она не принимала его ухаживаний. В последнее дежурство отказалась пить с ним чай, не взяла и английские фруктовые консервы. Смотрела на него надменно и даже сурово, как на шалящего ребёнка, пресекая вольности. Однажды разрешила себя поцеловать.

— Бешеный мой. Как я люблю тебя. Нам нельзя терять головы. Не могу компрометировать тебя. Ты должен уехать в Самару, поступить потом в институт. Уезжай в Москву. Тебе нельзя здесь оставаться.

— Почему?

— Тебе нужно занять прочное место в этом обществе. Мир так шаток. Он колеблется.

— Я всего добьюсь. Поверь мне. Рекомендацию...

— Мне дал Гребнев. Потерпи. Я приду к тебе. В день празднования международной солидарности трудящихся. Это будет твой день рождения.

Договорились. И книгу свою принесу. Обещаю. Никогда не подходи ко мне. Так надо.

Проходили дни за днями. Свирепый февраль перестал дуть на своих трубах, не стали метаться и плясать по сугробам в вихревых танцах странные чудовища. Иван начал писать повесть о своей жизни, о друге Степане. Эта повесть давно зрела в его сознании. Чагин не знал, как начать свои воспоминания. Сегодня сочинил первую главу. Попытался описать свои чувства в бою, когда отступали к Уральску.

Он спешил на работу, ему нужно было увидеть свою египтянку. Гребнев не особо докучал, но иногда приглашал к себе для душевных бесед. Как-то по расеянности, вместе с другими материалами Иван сдал Редкину свой короткий рассказ. Прошло четыре дня. После обеда Чагин хотел сходить в библиотеку, но в коридоре столкнулся с Пожарской. Она тяжело дышала, сверкая стёклами очков, тихо прговорила:

— Что ты наделал? Разве можно так выворачивать своё интимное? Что теперь делать? Что нам делать? Ты не осознаёшь всего того, что может с нами случиться. Твой рассказ – смертный приговор мне и тебе. Как мне тебя спасти? Глупый мальчик.

— Зачем меня спасать?

— Ты наивен и беспечен. Мог бы сначала мне показать свою исповедь. – Пожарская заплакала. – Ничего нельзя исправить. Редкин показал твою писанину Гребневу. Мерзкий выродок. Доносчик. Бойся его. Зачем ты написал о том листке, который прочитал у меня? Ты между двух огней.

— Случайно. Так получилось. Тебя не было. Подал ему несколько информации, а рассказ приклеился что

ли. Заберу пойду. ...Почему поздно? Что в нём ужасного?

Пожарская ушла, опустив голову. Он начал думать о своём проступке. Гребнев ничего не поймёт. Своим рассказом Иван хотел дать намёк Екатерине, что она раскрыта, но может рассчитывать на него. Он долго думал. Убеждал себя в том, что Катя не виновата ни в чём. Она не враг. Сам себе не верил. Не зря Гребнев постоянно говорил об угрозе, которая ему мерещится.

Рано утром Чагина арестовали. Тётка охала. Совала в карманы печёные свеклины, крестила и крестилась. Арестовывали знакомые парни. Сладострастные улыбки гуляли по губам, когда забирали оружие. Сминая, собрали бумаги со стола. Тогда он понял, что Катя была права, когда пыталась его предостеречь. Явных промахов у него не было. Гребнев выручит. Особый отдел и следователь чека ничего не могут ему предъявить, чтобы наказать по строгости того времени. Отпустят. Он не саботажник.

Гребнев встретил Ивана хмурым измятым лицом. Молча придвинул кружку с чаем. Иван положил на стол тёткин паёк, чем вызвал у секретаря кривую усмешку. Чагин молча, пил чай, смотрел на голые стены. Через час пришёл следователь Букреев. Бывший гимназист разговаривал с Гребневым подобострастно, повторяя за ним вопросы.

— Если произошла диверсия, если есть донос, но нет свидетелей, значит, нужны доказательства. Когда случилась авария на перегоне Отрадное – Васильки, Чагин был со мной. Ловит волк, ловят и волка. И тебе не кажется это странным? Кто-то хочет оклеветать

Ивана. Вот и разберись. Пока я его задержу до выяснения обстоятельств. А ты не тяни.

Иван поселился опять в кабинете архива. Писал справки, печатал на машинке протоколы и запросы. Гребнев его загрузил работой, как раба на галере. Домой не пускал, но разрешил тётке приносить передачи. Кормил секретарь по талонам в спецстоловой. Гороховая каша и тыквенный взвар. Иногда щи с мясом. Вечарами приглашал к себе. Пили чай с ржаными сухарями, копчёным салом. Вместо чая Гребнев добывал иногда из шкафа бутылку настоящей водки старого розлива. Говорили мало. Гребнев возмущался, не понимая, кто мог написать на Чагина донос.

— Подписан путевым обходчиком, а тот накануне замёрз. Тепло было. Диверсия была. Вагоны сошли с рельс. А ты был со мной. Кто это мог так точно знать? Если не разбираться, то вполне тебя надо арестовать и отправить в Самару, как хочется следователю. Ночью все дороги гладки, да только упасть можно.

— Крушение было. Кто-то это всё сопоставил.

— Заводят следствие по ложному следу, Ваня. Кому это нужно. Кому ты дорогу перешёл? Вот бы узнать. Я ж только собрался тебя забирать из редакции на новую должность. Этот донос. Будь неладен.

Иван знал, что Катя хочет его выгородить. Спасти от чего-то большого. Посмеялся над рассказом секретарь, выбросил его в урну, приговаривая, дескать, он бы так смог написать, да бумагу жалко и времени нет. «...Отдохни. От газеты. Заела тебя эта рутинка?»

Как-то вечером Ивана поднял дежурный, велел идти в следственный отдел. Гребнев что-то говорил избитому мужчине. Когда Иван вошёл, все смолкли.

— Узнаёшь? Он признался, что украл у тебя мешок муки, что там ещё? ...Подыми башку!

Иван подошёл поближе. Лампы светили ярко, но лицо избитого было опухшим после побоев.

— Сходство есть, но это не он. У того пальца не хватало на левой руке. – соврал Иван. – А у этого вроде все на местах. – мужчина кашлянул с хрипом в горле.

— Отпустить! Хватают всех подряд. Признания выколачивают. Тут любой признается, что он Архангел Гавриил. – говорил Гребнев зло. – Работнички подобралась у меня. Других нет, Ваня.

Печатную машинку Чагин освоил. Печатать стал быстро и аккуратно. Гребнев доволен, но домой не отпускал. Заканчивался март. Иван побелил свой кабинет, расставил колченогие стулья. Начал их ремонтировать.

— Других нет на складах? – удивился, входя как-то вечером, Гребнев.

— Наша работа не кабинетная. Надо по сёлам помотаться. Организовать школы, пункты ликвидации неграмотности, библиотеки. Книг не дают на складах. Говорят, искурили. По домам растащили.

— Описи возьми. У кого и что реквизируют. У твоего отца была большая библиотека. Куда всё дели? Завтра у меня они попляшут Комаринского, — ворчал секретарь. – Домой поздно. Ужинал? Утром заберёшь оружие и... в баню. В понедельник поедem ликвидировать безграмотность с тобой.

Почти месяц Иван был под арестом. Гребнев притворно вздыхал, возвращая лично блокноты и браунинг с серебряной пластинкой.

— Вот и повесть написалась. Где бы ты времени столько взял свободного. Почитать дашь? ...А ты,

братец соврал тогда. ...На опознании. Мужик был тот. Пожалел ты его племянницу. Она при аресте была убита. Лошадей травили в сельхозартелях. Торговали отравленным овсом. Диверсантка твоя Агрофена Вербицкая. Вредительница оказалась. Ты не знал, а значит вины на тебе нет. Жениться хотел? Тут бы и вместе загремели...

Иван вышел на улицу. Голова у него начала слегка кружиться. Не могла Груша этого сделать. Это чьи-то козни. Ведь посадили его. А могли пришить дело и расстрелять. На улице он бывал, но очень мало времени. Задумался. Как же рассказ оказался у Гребнева. Редкин нештатный сотрудник следственного отдела или чека? Так-то. Донос на него тоже написал он. Катя не стала бы. Лёгкое весеннее дыхание ощущалось в воздухе. Сугробы поникли, оголились южные склоны крыш. На чёрной дороге трещали безумно воробьи. Иван не радовался свободе и свету. Гребнев не стал бы врать. Чагин спешил знакомой улицей. Он несколько раз пытался позвонить Катеньке, но его не соединяли. Приказ Гребнева. Он это понял.

Ивана догнала кошева секретаря.

— Ванёк, садись. Довезу. Сам приказал, — белобородый дядька Влас осадил пару сытых рысаков. Иван, собиравшийся зайти в редакцию, был вынужден сесть в кошевку. — Продукты тебе. Паёк новый. Ты теперь комиссар. Поздравляю, Иван Филиппович, с назначением и утверждением. ...В должности. Оберегайся. Банды шалят. Гребнев арестовал подпольную организацию...

В редакцию пошёл вечером. Представлял встречу с Катенькой., слова готовил радостные. Редактор правил

полосу его карандашом. Посмотрел на него снисходительно и как-то брезгливо.

— Нет Пожарской. Расстреляли в Самаре. Мятеж готовила. Руководила подпольной организацией. Что ты удивляешься? Тебя повысили. Второй орден получишь. Ты в своём дурацком рассказе всё выложил. Гребнев хоть и серый, а догадался. Я обязан сигнализировать. Мой долг. Святая обязанность видеть скрытых врагов. А ты враг. Гребнев провёл обыски. Нашли склад оружия. Сделали засаду и переловили всех. Ты их видел. Они были в редакции. Многих людей загубил своим рассказом. ...Отнёс я его. Что прикажешь делать. Сигнализировать надо. Может быть, ты с Гребневым меня проверешь. Карандашом убил Катюшу.

— Сегодня первое апреля. Где она?

— В Самаре похоронена, комиссар народного образования. Что из того, что не сказал тебе. Она специально написала на тебя донос, чтобы тебя тоже не арестовали. Ты бы не отрёкся от неё. Живи. Я уезжаю. Терминология доканала меня ваша. Тут тебе письмецо от Катюши. На.

Иван вышел в коридор. У висячей лампы развернул записку. Узнал её почерк. Начал читать, впитывая в себя каждое слово:

«Милый мой, желанный, прости за донос. Ничего же не случилось. Вот ты и на свободе. Если бы нас арестовали вместе, ты бы не отрёкся от меня. Мне умирать не жалко. Помни меня, будь счастливым, как в ту «Ночь рождения». Твоя Египтянка».

Слёзы брызнули из глаз Чагина, побежали по небритым щекам. За окном метался весенний красный

закат. Солнце напористо давило на оконные стёкла тугими закатными лучами. Бельгийский браунинг образца 1900 года, калибра 7,65 миллиметров, выпускающий двадцать пуль в минуту, осечек не давал. Иван увидел весёлый Нил, тростниковые лодки. Сфинкс приветствовал его, саркастической улыбкой.

Редкин выскочил в коридор, подобрал пистолет и записку, из приёмной начал звонить секретарю, собираясь доложить о самоубийстве комиссара.

— Что ты ему наплёл? – билась в истерике Пожарская. – Доносчик. Приревновал? Я тебе давно не нужна. На паёк польстился...

— Он мешал нам. Он раскрыл нас. Понимаешь, дура? ...Просто пошутил. ...Что я ему сказал? Ничего такого. Первое апреля...

— Ты сдал его Гребневу. Вместе разработали план. Полковник называешься. Расправился с ребёнком. Сволочь белая.

— Так было надо. Иначе пришлось бы тебя сдавать. ...Ты и без него в партию вступила. Хватит выть, сучка. Привыкла на фронте с солдатнёй путаться. С пацаном любовь закрутила. ...Что у нас на завтра? – ласково спросил Редкин, заглядывая в глаза Пожарской.

— Твой некролог. Доносчик. Хочешь вкусно кушать... Не получится. — Екатерина Дмитриевна откинула конец просторной клетчатой цыганской шали. Редактора бросило к стене. Тоскливо и кисло запахло горелым порохом.

— Глупо, Лида, — сказал полковник Бармин, дёргая ногами. Гремела печатная машина. Звук выстрела никто не услышал. Пожарская быстро вышла на высокое крыльцо. Посмотрела вдоль улицы, которая тонула во полумраке. Ей предстояло сначала

выстрелить в окно, а потом ранить себя в плечо, чтобы покушение было правдоподобным.

Следователь Ярыжкин приказал откопать тела. Сопоставил траектории пуль. Стрелявший через окно в редактора, не мог попасть ему в грудь, так как тот был небольшого роста, а пуля прошла тело под углом. В деле фигурировала записка, найденная в кармане убитого редактора, и наградное оружие Чагина, из которого он убил себя. Понял следователь, что Редкин заметал следы.

Когда следователь рассказал Гребневу, что молодого комиссара шантажировал редактор, подсунув ему «предсмертную» записку Пожарской, которую написал, подделав почерк. Гребнев усмехнулся, но ничего не сказал.

Предстояло арестовать исполнительницу теракта, но она умерла от заражения крови на седьмые сутки в больнице. Фельдшер по неосторожности занёс в рану инфекцию. Пожарскую не спасли. Судить оказалось некого.

Следователь доложил секретарю губкома о проделанной работе. За срыв посевной Гребнева сняли с должности, послали счетоводом в депо станции Саратов-сортировочный.

КОНКУРС

Уважаемая незнакомая читательница и внимательный читатель!

Вы можете поучаствовать в конкурсе на лучшее моё издание из тех, что Вам предложило издательство «БПП». Проголосовать за понравившуюся книгу, оформление — просто: посы-

лаете на номер телефона, сумму, эквивалентную Вашим эмоциям, которые Вы получили.

8 906 968 97 76

С пожеланиями успехов и удачных свершений.

Автор.

*Владимир
ПРИТЧИ*

МАРЧЕНКО

О СВОБОДЕ КУСАНИЯ

Скучно стало Серёже. Походил он двору. Решил поиграть с Байкалом. Пёс говорит: «Как нам играть, если я прикован цепью? Какие могут быть игрушки? Отцепи меня. Вот уж мы побегаем». Только собрался Серёжа дать свободу Байкалу, но вспомнил, как дед говорил, что на цепи ему лучше. Еда в миске, обидчики во двор не заходят. «Зачем тебе свобода? В прошлый раз я тебя отпустил, а ты убежал на целую неделю. Вернулся голодный, покусанный дружками». «Верно, - согласился Байкал. – Но ты не видел, как я их искусал. Дай мне твою игрушку. Покажу, как нужно правильно на свободе кусаться». «Не дам, - сказал Серёжа. – Игрушкой будем играть, а кусать можно кости».

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Пёсик Муха вышел в сад. Страшно удивился, когда увидел висящие на дереве странные предметы. Задумался. «Зачем хозяину понадобилось украшать летом свой сад? До Нового года далековато...». Понюхал. «И запаха приятного нет и цвет серый. Совсем хозяин состарился, ничего не соображает. А мог ведь повесить котлеты или пельмени вместо этих чёрных груш».

Наука говорит, что собаки не различают цвета. Мир для них – чёрно-белый.

О ДРУЖБЕ

Увидел пёсик Муха брата Кролика и говорит: «А мы – родня».

«Ты как думаешь?» «Думаю, что родственники. Лап у тебя четыре, уши есть, усы есть, глаза есть, зубы есть. Всё, как у меня. Вот только хвостик у тебя маловат, и лаять ты не научился». Кролик задумался и сказал: «Разве мой маленький хвостик мешает нам породственному крепко дружить?»

ЗАБЫЛ ОБЯЗАННОСТИ

Старый гусь Гога увидел грустного Тузика. «Ты чего такой невесёлый? Похудел, однако» «С чего веселиться? Хозяин сказал, что кризис идёт». «Ты его испугался? - удивился Гога. – Ты всегда смелым был». «Если бы я его увидел, вмиг разорвал. Второй день стою и жду. Не ем, не пью. Боюсь пропустить». «Не обращай внимания, ешь. Как этот кризис придёт, так я – первый подам тебе знак. Мои предки целый город спасли. Рим называется». Тузик потянулся. «На Рим тоже кризис напал? А что ему в нашей деревне делать? Кирпичный завод у нас не дымит, Сельхозтехника закрыта, «Агрострой» давно фермы не строит, базар только до трёх часов семечками торгует. Кризис нас обежит». Обрадованный Тузик бросился к своей миске. Она оказалась пустой. Тузик, ожидая кризиса, перестал выполнять свои собачьи обязанности. Чужие кошки съели его хлебку.

СОБАЧЬЯ РАБОТА

- Альфа, а ты почему не получаешь льготную собачью пенсию? – спросила у подруги гусыня Гага.

- Видишь ли, дорогая, не хватает мне стажа. Не выработала.

- Ты же всю жизнь на цепи. Во дворе. День и ночь охрану несёшь строений и огорода. Не видела, чтобы ты уезжала в отпуск, – сказала, недоумевая, гусыня. – А сколько щенков выходила хозяину, выкормила и воспитала?

- Хозяйка и говорит, что, пока я ухаживала за щенками, учила их лаять, след брать, в рабочий стаж мне эти годы не вошли. Так что придётся работать до конца жизни.

